

233

ГРАНИ

GRANI

Г
Р
А
Н
И

233

2010

2010



Janvier – Mars

ГРАНИ

Ежеквартальный литературный журнал

*Проза, поэзия, очерки современности, религия,
философия, публицистика,
литературная критика и пр.*

Журнал считает своим долгом способствовать развитию свободной мысли, свободного слова, свободного творчества.

Почти полвека журнал публиковал произведения, которые не могли быть изданы на родине из-за цензурных или политических ограничений. В «Гранях» печатались произведения:

А. Ахматовой, Д. Андреева, Л. Бородина,
М. Булгакова, И. Бунина, Г. Владимова,
В. Войновича, А. Галича, З. Гиппиус,
В. Гроссмана, Ю. Домбровского,
Н. Заболоцкого, Б. Зайцева, Е. Замятина,
Н. Коржавина, В. Корнилова, А. Куприна,
С. Левицкого, Н. Лосского,
В. Максимова, О. Мандельштама,
В. Набокова, В. Некрасова, Б. Окуджавы,
Б. Пастернака, К. Паустовского,
Р. Редлиха, А. Ремизова, Ф. Светова,
А. Солженицына, В. Солоухина, В. Тарсиса,
М. Цветаевой, И. Шмелева, В. Шульгина
и многих других отечественных
и эмигрантских авторов.

* * *

И в новых условиях уже в самой России журнал будет следовать прежним принципам, в первую очередь публикуя произведения, помогающие восстановлению прерванных тоталитаризмом традиций российской культуры.



Журнал основан в 1946 году
Основатель журнала Е. Р. Романов
Редактировали:
1946 Е. Р. Романов, С. С. Максимов,
Б. В. Серафимов
1947–1952 Е. Р. Романов
1952–1955 Л. Д. Ржевский
1955–1961 Е. Р. Романов
1962–1982 Н. Б. Тарасова
1982–1983 Р. Н. Редлих, Н. Рутыч
1984–1986 Г. Н. Владимов
1986–1995 Е. А. Самсонова-Брейтбарт

С 1997 года
Издатель и Главный редактор
Татьяна Жилкина

Редакционная коллегия:
Алла Ависова, **США**
Виталий Амурский, **Франция**
Белла Ахмадулина, **Россия**
Ирина Басова, **Франция**
Тамара Жирмунская, **Германия**
Виктор Кузнецов, **Россия**
Екатерина Труш, **США**

**Москва–Париж–Мюнхен–
Сан-Франциско**

Г Р А Н И

МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ
THE RUSSIAN LITERARY JOURNAL

Год LXV

№ 233

2010

СОДЕРЖАНИЕ

«Мы принадлежим к нациям...» 5

ПУБЛИЦИСТИКА

Михаил ПОТАПОВ – Юлий ЛАБАС.
Лишенный «мозгов», мир станет еще более безумным 6

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

Тамара ЖИРМУНСКАЯ.
Раненый жемчуг 19

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Николай ПАНЧЕНКО.
«...Я боль твоя, Россия» 33

Александр ЗОРИН.
Дар Валдая. Хроника деревенской жизни 44

Валентина БОТЕВА.
Перечитывая Гёте. Стихи 77

Фридрих ГОРЕНШТЕЙН.
Старушки. Рассказ 89

Владимир НИКОЛАЕВ.
Правдинский монастырь 110

АНТОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА

- Елена МУНТЯН.
Осень художника 143
- Эдгар ЭЛЬЯШЕВ.
Царевна-лягушка 152

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

- Наталья МЕНЧИНСКАЯ.
Сестры Изергины 159
- Глеб ВАСИЛЬЕВ. Галина НИКИТИНА.
«Их дух, их мысль...» 197

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

- Виктор КУЗНЕЦОВ, Георгий КУЗНЕЦОВ.
«Времена не выбирают, в них живут...» 214
- Коротко об авторах* 231

Обложка художника Н. Мишаткина

*Эмблема – «Парус»
Художник И. Иогансон*

ISBN

978-2-9534268-0-9

Copyright © 2010
JOURNAL «GRANI»

*Мы принадлежим к нациям,
которые, кажется... существуют
для того, чтобы со временем
преподать какой-либо
великий урок миру...*

*Повторяю еще: мы жили,
мы живем, как великий урок
для отдаленных потомств.*

Петр Чаадаев

ПУБЛИЦИСТИКА

**Лишенный «мозгов»,
мир станет еще более безумным**

*Интервью Михаила Потапова с Юлием Лабасом**

М.П.: *Юлий Александрович, интерес к Вам со стороны организаторов и посетителей сайта «Этология» вызван недавней публикацией в Интернете Вашей книги «Этот безумный, безумный мир», написанной в соавторстве с Седлецким. Появление в разделе «Персоналии» Вашей биографии этот интерес усилил. Вы – известный ученый-биолог и общественный деятель, и нам интересно будет узнать Ваше мнение о современном человеке – «зоологическом объекте» и человеческом обществе, о судьбе страны и отечественной науки.*

Судя по тому, что изложено в Вашей биографии, Вы происходите скорее из «артистической», чем из «научной» семьи. А искусство и наука – принципиально разнящиеся сферы человеческой деятельности и требуют разного склада ума. С чем же связан и как онтогенетически сформировался Ваш интерес к науке вообще и к биологии, в частности? Не из чувства протеста?

* (1933–2008). – Ред.

Ю.Л.: Я выбрал биологию, как и многие мои коллеги, в пяти-шестилетнем возрасте. Отец любил и знал природу. Он ловил мне головастиков и лягушек, рассказывал, как происходит их развитие. Помню золотистые глаза первой такой лягушки, пойманных уже мной стрекоз и ящериц на даче. На памяти незабываемые впечатления от болотной жизни – прогулки с отцом.

А потом к моей матери, уже после развода с отцом – он женился на немецкой журналистке из красных эмигрантов Лонни Нойман, которую я с годами полюбил как почти вторую мать – пришла наниматься в домработницы престарелая дама Ефросиния Илларионовна фон Шлейснер – по мужу, кажется, директору Путиловского завода.

Эта дама из «недобитых» не сразу раскрыла свое происхождение. Мама беседовала по-французски с тетей, а Ефросиния Илларионовна вдруг вставила фразу... Так вот эта дама читала мне вслух Богданова «На экскурсию» или что-то в этом духе и очерки Кайгородова. Оттуда помню изображение личинок стрекоз и белемнитов с аммонитами.

Мне было не более шести лет. Появился и аквариум с верховками и вуалехвосткой. Так все и определилось. У меня все еще хранится «Зоология позвоночных» Кашкарова и Станчинского, которую один из авторов подарил мне задолго до войны. Он был соседом по даче.

Но я и рисовал. В эвакуации, в Ташкенте, участвовал в детских выставках. Удостоился хвалебных рецензий в газетах. Выставка поехала в США. Успехи после возвращения продолжались, были еще выставки. Потом, помнится, Фальк мне сказал, что на меня дурно влияет отец. Отец, напротив, рекомендовал не поддаваться влиянию этого художника. И в четырнадцать лет я перестал рисовать.

А интерес к биологии никогда не прерывался. В Средней Азии получил громадное впечатление от тамошней фауны, особенно от медведок, скорпионов, сальпуг, гекконов, летучих мышей. Читал с увлечением еще в эвакуации «Изменение животных и растений в домашнем состоянии»

Чарльза Дарвина. Эта книга у меня сейчас в лаборатории находится.

В школьные годы я слушал лекции по палеонтологии беспозвоночных Марии Александровны Болховитиновой в геолого-разведочном Институте имени Орджоникидзе. А орнитологическую подготовку получал от старика-старообрядца с Птичьего рынка. Голоса птиц запоминал с четвертого-пятого класса.

М.П.: У Вас много работ как общебиологического, так и узкоспециального плана. Тем не менее, однажды Вы обратились в своей книге к проблеме этологии и социальной психологии человека. Произошло это отнюдь не в начале Вашей карьеры как биолога. Натолкнули ли Вас к написанию этой работы Ваши размышления как биолога или, может быть, как гражданина и политического деятеля?

Ю.Л.: Вообще дела могли идти лучше, но время было не-веселое. Как, впрочем, и все исторические времена в России. Недавно я делился воспоминаниями о временах Великой Отечественной войны с сэром Родриком Брейтвайтом, экс-послом Великобритании в СССР. Он пишет книгу. «1941 год глазами современников»...

Помню поезд, на котором в конце октября сорок первого года уезжал с матерью в эвакуацию, в Самарканд. С нами ехала какая-то старушка. Все смеялась. «Бабушка, почему ты смеешься?» – «А я Гитлера обманула, милоч. Винь прилетить, а мене нет!»

Итак, отвечу на вопрос: почему я вдруг взялся писать «Этот безумный мир»?... Этологией я интересовался уже на втором-третьем курсе Рыбвтуза. Тогда именно я думал о распознавании образов, основах распознавания отдаленного сходства, гипероптимальных раздражителях, и применимости всех этих психофизиологических познаний к теории живописи. В таком ключе писал дипломную работу и статью, опубликованную во французском сборнике. Увы, Слоним считал

этологию буржуазной лженаукой, как, впрочем, и генетику с кибернетикой. Время было такое.

А гражданское мое воспитание началось с детства. В сталинские годы я люто ненавидел советскую власть. Никогда не был в ВЛКСМ и даже пионером... Перестройка занесла меня в вихрь гражданской активности. Связи с диссидентами дополнились и расширились на ряд журналистов и народных депутатов. Было дурное предчувствие нынешних времен и их развития в дальнейшей перспективе...

М.П.: Предчувствия предчувствиями, но в книге все выстроено «по науке». В частности, из сравнительно-этологического анализа Вы делаете вывод о том, что одна из угроз миру – этническая и религиозная вражда, которая ныне и в самом деле все обостряется, принимая немыслимые по жестокости формы. Это делает Вашу книгу пророческой, но и тщетной в попытке взывать к людскому разуму. Люди не внемлют и отмахиваются от «аналогий» биологической и социальной эволюции, о которых Вы пишете.

Видимо, поэтому книга своим подзаголовком «Учебное пособие для власть имущих, нынешних и грядущих» обращена к тем, от кого что-то в мире зависит? Но не думаете ли Вы, что сии имущие «все понимают, только сказать ничего не могут», так как возможность управления обществом предполагает одновременное знание и неразглашение, в частности, – этологических закономерностей, действующих в нем?

Ю.Л.: В те годы этот самый вихрь перестройки занес ненадолго в политику немало интеллигентных людей. Им я и адресовал свою книгу. Ее намеревался издать трагически погибший Эдмунд Йодковский – главный редактор журнала «Литературные новости».

Нынешним власть имущим учебные пособия, конечно, не нужны. Они и так все знают. Главное же, что они поняли: любая цель оправдывает любые средства, а жизнь дается только раз. Надо воспользоваться ее благами сполна. Один

ужно-корейский монах, имени, к сожалению, не помню, писал: «Беда России в том, что ее властители способны думать только о себе».

Эгоизм иногда принимает патологически гипертрофированные формы. Всякие там книжные страсти и жертвенные подвиги – для дураков-интеллигентов, бессмысленно путающихся под ногами. Жертвенность вообще – черта, свойственная некоторым воинам, проповедникам, врачам и педагогам, но, увы, отнюдь не политикам...

Итак, моя книга писалась в иную историческую эпоху, когда еще были близки к власти некоторые вполне интеллигентные люди, которых я наивно попытался предупредить.

Увы, опоздал...

М.П.: *В своей книге Вы радуете за демократию как единственно разумное устройство общества. Позволю себе небольшую цитату: «Единственная альтернатива демократии в наше время – тирания. Неизбежные ее спутники – нищета, ложь, террор, кровавая борьба за власть».*

Изменились ли Ваши взгляды за двенадцать лет, прошедшие со времени написания книги? Спрашиваю так, чтобы понять, идет ли Россия по пути демократии?

К чему тогда эти настойчивые идеи об «укреплении вертикали власти», о назначении сверху не только губернаторов, но и, например, президента Академии наук, то есть – всех и вся? И почему же тогда у нас цветут пышным цветом все перечисленные Вами атрибуты тирании?

Ю.Л.: Потому, что все свершается по треклятому циклу, о котором еще Аристотель писал: демократия – охлократия – тирания – олигархия – демократия и так далее. Западные страны кое-как удерживают демократию, хотя и с величайшими издержками. Особенно трудно поддерживать ее в больших державах, а в России, как мы только что убедились, пока невозможно. Худшие времена в нашей истории, полагаю, еще впереди...

М.П.: Грядущая «реформа» в науке и образовании, затеянная господами со зловещими фамилиями Фурсенко и Сви-наренко, попросту сражает наповал своей абсурдностью и вредоносностью... Хочу поинтересоваться у Вас Вашим отношением к ней.

Ю.Л.: Были организованы две передачи на «Свободе», что не могло сыграть большой роли, но в вечерних новостях по ТВ «Россия» выступили нобелевец Гинзбург, академик Месяц – ему это, как видно, стоило поста в президиуме РАН; Капица-сын, еще пара академиков из Мериленда, США, академик Сагдеев, огласив мнение всего нашего научного общества: такие «реформы» окончательно добьют науку в России!

Как не вспомнить к случаю Угрюм-Бурчеева из «Города Глупого» Салтыкова-Щедрина: «Въехал в город на белом коне. Сжег гимназию и упразднил науки»!

Когда-то Андрея Дмитриевича Сахарова собрались выгнать из АН СССР, но Петр Леонидович Капица напомнил, что единственный прецедент – исключение Эйнштейна из гитлеровской академии. Это умерило страсти.

Сейчас ситуация может стать хуже, чем была тогда и вообще когда бы то ни было за все двести пятьдесят лет существования Академии наук и университетов в нашей стране. Подобное раньше позволил себе только Туркмен-баши.

В романе Ильи Эренбурга «Хулио Хуренито» мексиканский авантюрист с таким экзотическим именем добился приема в Кремле в восемнадцатом году и задал Ленину вопрос: «Товарищ Ленин, почему Вы все еще не запретили в стране Советов образование, науку и искусство?» Ленин ответил: «Мы – не варвары» и далее пустился в пространные рассуждения о том, какой нарком чем заведует – Кржижановский – наукой, Луначарский – искусством и прочее. Хуренито возразил: «Владимир Ильич, Вы не учли, что образование, наука и искусство – Везувий, который изливает свою лаву на любую Помпею, как капиталистическую, так и социалистическую».

Большевики и гитлеровцы это прекрасно понимали, но для них образование, наука и искусство было не только фактором мощи, но и «павлиньим хвостом», без которого тоталитарный режим с амбициозными сверхцелями просто не может существовать. Они истребляли отдельных деятелей науки и культуры, у нас – массами, но не решились даже отменить выборность президентов Академии наук.

Совершенно иное дело сейчас. Как это получилось? Между пятьдесят третьим и девяносто первым годами у нас были две взаимозависимые силы: КПСС и КГБ. Партия после сталинских ежовщин как огня боялась повторения. Она выполняла как бы роль иммунной системы по отношению к КГБ.

В девяносто первом у нас Шестую статью конституции – о диктатуре КПСС – отменили, а КГБ оставили в целости.

В Чехии, Словении, бывшей ГДР, Прибалтике и так далее пошли другим путем. Там сразу отстранили от власти и кормушек обе организации, а также запретили функционерам «оттуда» занимать государственные посты. Результат, увы, налицо, и сравнение не в нашу пользу.

Любые диктаторы еще со времен Цин Ши Хуанди – кровавого объединителя Китая понимают: только общество без культурной прослойки полностью управляемо, что обеспечивает надежную «вертикаль власти». Причина в том, что любую организованную оппозицию порождает только эта прослойка.

Гитлер ограничился истреблением евреев. Сталин хотел последовать его примеру, но не успел. В глубине души и тот, и другой, конечно, мечтали таким же образом разделаться со всей вообще интеллигенцией, за исключением любимчиков и холуев.

Однако и тот, и другой прекрасно понимали: до окончательной победы в мировом масштабе нечего и думать. Ведь уничтожение культурной прослойки и научного потенциала физически и морально разоружает страну, обрекает ее на распад и порабощение.

Наши нынешние правители, надеюсь, что только некоторые из них, вероятно, тоже не питают особо теплых чувств

к образованной прослойке. Трудно сказать, сколь далеко они зашли бы в разного рода «реформах», если бы не опасались большого международного скандала. Ведь назидателен пример избегаемых мировым сообществом «стран-изгоев».

В то же время, из-за отсутствия амбициозных планов осчастливить человечество, «сделать сказку былью», такого рода сдерживающих мотивов в наши дни, к сожалению, куда меньше, чем в «стране победившего социализма». А с другой стороны, появился новый побуждающий стимул – неумная алчность. Ежу понятно, что недвижимостям академических институтов и университетов можно превратить в диснейленды, супермаркеты, офисы, казино, доходные жилые дома для «новых русских».

Когда-то одного мужика спросили: «Что будешь делать, если станешь царем?» – «Украду тысячу рублей и сбегу!». Как актуальна эта побасенка в наши дни! Трагедия нашей цивилизации в том, что на смену несбыточным социальным утопиям XX века в западном мире и в России пришел зоологический эгоизм.

Надличностные цели поведения человеческих индивидов полностью отпали. А личной целью стал потребительский рай. Бездумное стремление в этот «рай», несомненно, может погубить все человечество. Ведь природные ресурсы отнюдь не безграничны, в отличие от человеческой алчности и жадности наслаждений. Как писал американский писатель Курт Воннегут в повести «Бойня номер пять»,

*Настанет день, настанет час, придёт Земле конец.
И нам придётся всё вернуть, что нам вручил Творец.
Но, если мы, его кляня, подыдем шум и вой,
Он только улыбнётся, качая головой.*

Когда-то в годы перестройки, я, беседуя по радио с председателем идеологической комиссии ЦК КПСС Лапиным, спросил его: верит ли он в общество, где с каждого по способностям и каждому – по потребностям? Естественно, он

сказал, что верит. А я возразил: «Мы, биологи, знаем такое «общество». Это – глисты. В результате, у них атрофировался головной мозг. Неужели коммунисты то же будущее желают человечеству?»

Конечно, творческие люди пока не перевелись окончательно. Но много ли в мире сейчас таких титанов науки и великих писателей, как в XIX и XX веках?

Наконец, войны прошлого были мощным двигателем научно-технического прогресса. Воевали миллионные армии, были фронты, авианалеты, подлодки и так далее. А сейчас западная цивилизация воюет с беспрецедентной в истории человечества армией фанатичных самоубийц – «новым оружием» исламского мира.

Воистину, мир раскололся. На одной его половинке мысль: *Homo sapiens* становится все более коротким расстоянием между двумя словами «бакс». На другой половинке орут «Аллах акбар!», примеривая пояс шахида. Против этой армии одиночек-террористов современные технологии почти бессильны. Опять-таки нет заинтересованности в существовании науки.

М.П.: Действительно, зачем нашим бравым «мочильщикам терроризма» наука и технологии? К тому же под шумок идеи фикс о международном терроризме можно протащить практически любые, порой необратимые, «преобразования»...

Но можно ли все-таки как-то противостоять попытке уничтожения науки в России? Есть ли у нас к тому реальные средства?

Ю.Л.: Есть ли средства противодействия? Не знаю. Возможно, это – международный скандал, начало которому положило недавнее выступление академика Сагдеева из США. Дети нашей отнюдь не духовной элиты учатся за рубежом. Там же их виллы, банковские вклады и охотно посещаемые международные тусовки. На этих последних не расчет появляться с кольцом в носу и в звериной шкуре с каменным то-

пором в руках. На это их желание выглядеть на западе вполне цивилизованными людьми – вся надежда.

Хотя именно на западе немало людей, вполне заинтересованных в том, чтобы Россия стала жалкой сырьевой страной без будущего, науки и культуры. Зачем конкуренты? Так что, все выглядит довольно безнадежно. И нет новых мессий, которые удержали бы общество от движения в сторону явного регресса.

М.П.: Безрадостная перспектива...

Ю.Л.: Я упустил еще один аспект. Упадок промышленности и сельского хозяйства в России породил падение спроса на наукоемкие технологии. В ряду мировых держав мы по уровню технического развития из ста двух стран заняли, если не ошибаюсь, семьдесят второе место. Интересна разница с Белоруссией – не в нашу пользу. В Белоруссии хоть на науку пока никто не покушается. Но ядерного оружия нет. Поэтому – «страна-изгой». А мы очень опасны из-за своей непредсказуемости и наличия оружия массового уничтожения. К тому же еще нефть. За это многое могут «простить». Простили бы и Саддама, будь у него ядерное оружие.

Ходят слухи, уж не знаю, верить или нет, о снятии с бюджетного финансирования всех научных институтов МГУ... Более того, вынашивают, якобы, сумасшедший проект «закрытия» всех академгородков. Трудно в такое поверить! Надеюсь, что не посмеют или опомнятся.

В октябре я был на митинге у Белого дома. Выступали многие, в том числе, думские депутаты от оппозиции и говорили приблизительно то же, что сказали, выступая по телевидению, академики Гинзбург, Месяц и Сагдеев. Однако на этом многотысячном митинге не было ни одного академика! Может быть, они уже узнали, что панические слухи об упразднении науки в России, распространившиеся сейчас во всем нашем научном сообществе, мягко говоря, слегка преувеличены?

Не удивлюсь, если внезапно окажется, что кто-то уже подготовил статью «Головокружение от успехов... российской науки». «Свинаренкам» дадут понять, что они малость перебрали. Это был бы очень удачный пиаровский ход.

М.П.: *Несомненно! По банально «подставляя» Свинаренко, заигравшиеся кукловоды, оставаясь сами в тени и в чистоте, тем не менее, прощупывают почву. Крысы в разведку – практически на закланье тоже отправляют молодняк и «неудачников». А вот вставшие в круговую оборону перед лицом врага копытные своих телят вперед не выталкивают. Надеюсь, мои зоологические аналогии будут поняты правильно.*

Так, появилась информация, что «концепция» Свинаренко была спешно «переработана». Боюсь, что именно в преддверии митинга, чтобы снять напряжение. И подписана президентом РАН, ректором МГУ и министром Минобрнауки. Заметьте, этот перл «новояза» звучит почти как «Абырвалг» Шарикова! Некоторые, наиболее острые, моменты ее были сглажены или завуалированы.

Кстати, эти же персоны были вызваны на доклад к Президенту. Похоже, в решительный момент наши матерые научные «зубры» взяли на себя ответственность за наше, телков беспечных, сохранность и благополучие.

Но так ли это? Переработанная «концепция» засекречена, но нет сомнений, что она есть результат «компромисса». А в чем он? И где мера допустимого соглашательства?

Лично меня не оставляет тревога. Все делается у нас за спиной. Не следует ли такие «судьбоносные» вещи обсуждать не только в верхушке, но и выносить на своеобразный референдум в научном сообществе, а принимать решения только квалифицированным его большинством? Не было бы это одним из воплощений демократического устройства общества, о котором Вы говорили?

Ю.Л.: Разделяю Вашу точку зрения, но в перспективе шансов почти никаких. Большие начальники себя спасут, а за такое интервью мы вполне можем поплатиться... Поэтому,

давайте, подредактируйте этот текст. Ведь мы отвыкли от цензуры, а пора опять привыкать и к ней...

М.П.: Согласен про «реставрацию» цензуры, есть все признаки – судьбы неугодных средств массовой информации и так далее. В откровенной беседе не обойтись без крепкого словца, но, морально готовясь к переезду дискуссионного клуба на кухню, «вымарываю» наиболее прямо высказанные суждения.

Терять нам, кроме «своих цепей», наверное, есть что. Бестолковщина и безвластие последних десятилетий при всем их «негативе» позволили нам вспомнить «генетической памятью» или заново вкусить свободы и общечеловеческих ценностей, полюбить человеческую жизнь, научиться ею дорожить.

Жалко терять приобретенное теперь – в эпоху «завинчивания гаек» и борьбы с инакомыслием – «гидрой мирового плюрализма», по Вашему же меткому выражению.

Ваша книга не бесспорна в своих выводах, как Вы, наверное, согласитесь, Юлий Александрович. Но у нее есть аудитория – люди думающие и небезразличные. Я уверен, что такие в стране не переведутся, несмотря на настойчивые попытки лишить ее «мозгов» и приблизить к тому «колмунистическому идеалу», очень удачную аналогию которому Вы нашли, – к «обществу» бездумных глистов-паразитов.

Спасибо Вам большое за беседу. Пусть она состоялась не в самые светлые времена, но других нам, видимо, и в самом деле уже не дождаться.

Ю.Л.: И я благодарю Вас за эту беседу. Сейчас не только нашей стране, но и всему миру как воздух необходимо «второе пришествие»: новые «мессии». Только великие проповедники, идеологи, мудрецы смогли бы в наши дни предложить альтернативу потребительскому «раю» – надличностные альтруистические цели человеческой жизни.

Я убежден: без таких целей, без новой системы надличностных ценностей, человечеству не светит ничего, кроме глобальной эколого-сырьевой, экономической и духовной ка-

тастрофы. Былые социальные утопии и даже религии, к сожалению, не выдержали конкуренции с дурманящими плодами научно-технического прогресса.

Раньше мыслящие люди глядели на иконы и на картины великих мастеров. Сейчас все «балдеют» у экрана телевизора. Потребительское общество, в котором всем на всех наплевать, – тупиковый путь эволюции человечества. Если мы с этого пути не сойдем, неизбежно вымрем как динозавры в самом ближайшем будущем. Словами Иосифа Бродского,

*...Так начнётся двадцать первый «золотой»,
На тропинке, алым Солнцем залитой,
На вопросы и проклятия в ответ,
Обволакивая паром этот свет...*

Конечно, я в глубине души надеюсь, что несу чушь о наших днях, плохо о них осведомлен. Не хочу оказаться пророком в своем отечестве. Слишком жалко молодых, тех, кому долго жить. А ведь вся надежда только на них.

М.П.: *Осведомлены мы все только настолько, насколько «позволено». Думаю, что молодежи стоит многому поучиться у Вас, по меньшей мере, – активной гражданской позиции. Тогда Вам не жалеть их придется, а гордиться ими. Спасибо Вам за поданный всем нам пример самоотверженности и чести.*

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

Тамара Жирмунская

Раненый жемчуг

Литературное эссе

Руа Ретиро дос Артиста, Жакарепауга... И, не зная португальского, я догадалась, что речь идет об актерах или художниках, о каком-то уходе («ретироваться») или возврате в прошлое.

Когда в Москве всеведущий в делах русской зарубежной литературы Евгений Витковский дал мне бразильский адрес Валерия Перелешина, я стала мысленно проращивать влажные, романски закругленные слова, вытягивая из них факирским жестом лазурную лагуну, рекламно-курортные пальмы, длинную аллею с ослепительным просветом в конце, марципановый домик где-то посередине под навесом из райски плодовых ветвей.

Немного смущало, что поэт, как объяснил мне Женя, живет в доме престарелых. Ну и что?! У нас – так, а у них – по-другому. Да и у нас порой неплохо: всех бы бездомных и малосильных туда, под сень яблочкинской богадельни...

Прежде чем ехать в неведомое Жакарепауга, я позвонила из квартиры, где остановилась. На мое затверженное приглашение «дона Валериу Перелешин» ответом была... вата. Точнее, ватный тампон, забитый в мое ухо. Не только у нас

обслуга остро нуждается в переподготовке. Я решила ждать. И ждала вечность. Наконец, кто-то взял трубку. Началась телефонная мука. На том конце провода почему-то упорно не понимали ни моего русского, ни английского, ни даже местного наречия (подоспела помощь квартирной хозяйки). Вдруг меня озарило: я говорю с глухим. В лучшем случае с тугослышащим, который не хочет признаться в своем дефекте. Перешла на крик и – ура! – объяснились, одноязычные. Дон Валериу пожелал, чтобы я приехала сейчас. Просто взяла таксомотор, и через сорок-пятьдесят минут моторист доставит меня куда надо. Финансовую сторону я освещать не стала, но громко, по слогам, объявила, что сегодня не смогу – завтра.

– Это жестоко! – воскликнула трубка с качаловским глissандо.

Еду... В лазурную лагуну, в марципановый домик. Как, оказывается, убого мое воображение!

Пробег, что «мотористу» не составил бы труда, три автобуса, вонючих, как керогаз из военного детства, угрюмо передавая эстафету друг другу, одолели за два часа с лишним. Город кончался и начинался вновь. Усеченные небоскребы переходили в пятиэтажки знакомого образца; ухудшенные близнецы архитектурных шедевров Северной Пальмиры соседствовали с коттеджами-черепаками, где так мало не одетого в панцирь из черепицы. Многоэтажность исчезала и появлялась снова.

Живописный бразильский мусор, выметенный из центра сотнями щеток, за городской чертой, а их было несколько, брал у отцов города реванш, образуя на больших пространствах множество бесснежных горок и безмуравьиных куч. К счастью для эстетов, общая запакошенность была не так заметна, как у нас; все застилал и талантливо вуалировал цветочный ковер из ярко-малиновых звездочек – родственниц нашего «огонька».

Возникший оазисом на серой улице бело-синий храм – не храм, но по виду здание «культового назначения», в окруже-

нии бюстов, оказался декорацией. В нем никто не жил, внутри располагался то ли склад, то ли подсобка. Престарелых артистов поселили позади нарядного фасада, в одноэтажных фанерных домиках. Углых. Без приусадебного участка, без зелени. Перелешинская хибарка значилась под номером пять.

Стучать не пришлось. Дверь отворена, чтобы не сказать условна, заходи, жди хозяина, который, как показал знаками сосед, в столовой на обеде.

Надоело толчение воды в ступе: должны или не должны походить стихи на автора, автор на стихи? Что значит «должны»? Что за дурацкая детерминированность? Если уж вам, читатель, выпала честь быть современником двух-трех поэтов (не всех, слава Богу, успели укокошить!) и вы получили невысказанную возможность увидеть одного из них вблизи и даже беседовать с ним, оставьте за порогом всяческие претензии. Смешной нелепый человечек? С плохо заклеенным стеклянным кружком в бухгалтерской оправе? Тугоухий? Припадающий на одну ногу, как лорд Байрон?

Зажмурьтесь и вспомните, что он – поэт. Русский Поэт. Больной Россией до такой степени, что эта высокая болезнь, с ее прекрасным бредом, подымлет его над географическими широтами, над временными координатами; ему воистину возвещено нечто из иных сфер; и в лихую для Родины годину он вдруг оказывается участником сегодняшней борьбы, огненным носителем нынешних гражданских страстей, к голосу которого не грех прислушаться:

*Клич обиды и мщенья брошен:
о Россия, вернись на Восток!
Бредил Белый, и верил Волошин.
Сгорал серафический Блок.*

*К богдыханам, каганам, калифам
под охрану меча и копья
прибеги потревоженным скифом,
Россия, Россия моя.*

*Под защиту к распутицам, к толям
или, лучше, к пустыням нагим:
раздурачим тебя, разъевропим,
разниконим и распетрим!*

Телесная оболочка – тлен, слетит, и поминай как звали. А вот словесный автопортрет останется – в не тесно увешенной добротными холстами галерее, называемой отечественной поэзией. Какой высокородный чекан, какое самоиронией загрунтованное, клиньями света и тени испещренное полотно:

*Да, я Салатко и Петрище,
я двойственный и с юных дней
чем глубже увязал в грязище,
тем небо делалось ясней.*

*Всю жизнь качаюсь на качели:
то блеск небес, то сумрак щели,
то выше облака взлечу,
то... Но, пожалуй, промолчу...*

*То вертолет, то чурбан,
то Ариэль, то Калибан...*

...Салатко-Петрище – родовая фамилия отца поэта. Родился дон Валериу в Сибири в тринадцатом году. Ребенком был вывезен в Харбин. Потом жил в Шанхае. С приходом «красных китайцев» – его выражение, покинул вторую любимую страну, – первая, конечно, Россия, – обосновался в Бразилии.

Граматику нового языка выучил еще на пароходе. Подготовил для нас с вами сплошь из незнакомых имен составленную, за исключением, пожалуй, Томаса Антонио Гонзаги, которого отметил единственным переводом еще Пушкин, антологию бразильской поэзии «Южный крест». Есть в ней прелестные штучки:

*Тереза, ты красивее всего, что я видел
в жизни, красивее даже морской
свинки, которую мне подарили,
когда мне было шесть лет.*

Мануэл Бандейра.

Перелешин многоязычен. Но язык, который, смею сказать, он знает лучше огромного количества россиян, на котором он пишет, грезит, зло выщучивает, философствует, читает летучие лекции по поэтике, призывая меня и всех нас к абсолютному поэтическому слуху и «формальному совершенству», – это материнский язык, русский язык...

Пока он азартно угощает меня стихами чуть ли не из каждой своей книги, а их, то есть книг, у него полтора десятка, внимание слушательницы я невольно прослаиваю впечатлениями очевидицы. Гипертрофируя, можно назвать его жилье квартирой: что-то вроде кабинета, что-то вроде спальни, кухня. Есть и «удобства», но лучше бы их не было: с того конца веет полями орошения.

Сегодня дождливый день осенней весны – вот где, в Южном полушарии, реализуется этот поэтический образ. И в доме сумрачно, зябко. Как же он живет здесь круглый год, семидесятипятилетний шелкунчик, очень одинокий после смерти матери, терзаемый молодыми и старческими недугами, запертый, как отслужившая фигура в углу шахматной доски?

Вот я сказала «отслужившая» – а правильно ли это? Перелешин – не дипломат, не резидент, отыгравший свою игру. Поэт, если и фигура, то на другом биоэнергетическом поле, «на небесех» или еще дальше... Нет, он и на этом свете фигура. Не для многих, но хотя бы для некоторых. Написал же Семен Карлинский – знаю его книгу о Цветаевой! – из Штатов, что получил неожиданные деньги и хочет его издать. И издал. «Поэму без предмета», написанную, подумать только, онегинской строфой, – веский, как буханка хлеба, том. Себе-стоимость чуть ли не шесть тысяч долларов.

– А гонорары вы получаете?

– Какие гонорары?! – смешок сквозь неровную прорезь рта. Я благодарен издателям, что с меня не берут. За бумагу и краску.

Я жадна до поэтических новинок. Нянчу «Поэму», как младенца.

Сквозь надвигающуюся слепоту хозяин дома замечает это и, соболезнуя, разводит руками:

– Презентовать не могу. Имею единственный экземпляр. Но другие книги подарю. Возьмите стул, доставайте сама. Видите ту стопку? И вот эту, над креслом? И еще две правее?

Высота потолка, знакомая до слез: два с половиной метра. Стоило облетать полземли, чтобы поднятой рукой привычно легко дотянуться до верхних книжек?

По углам кабинета – гамаки из паутины. Навесные полки скособолены, книжные зиккураты грозят обвалом. Но как-то держатся. Удерживаюсь и я на шатком сиденье. Честно беру из каждой пачки по одному экземпляру. По просьбе автора вкладываю ему в руки шестую книгу стихотворений «Качель».

Он декламирует из нее, изредка прикладывая перечеркнутое очко к тексту:

*Овца, оставшая от стада,
И я иду не за толпой,
Иду туда, куда не надо,
Туда, где волчий водопой.
Что ж, Пастырь добрый, разве ныне
Тех девяносто девяти
Уже не бросишь ты в пустыне,
Чтоб одного приобрести?*

«Святой Георгий», «Колокол», «Заупокойный канон», «Поэма о мироздании», «Крестный путь» (венок сонетов), «Корковадо» – гора, неподалеку отсюда, где колоссальным железобетонным распятием застыл двадцатиметровый Христос, – красноречивые названия стихов избавляют меня

от многоглаголения по поводу главной поэтической стези Перелешина. Я слушаю удивительного старца, и нет уже вокруг нас убогой запустелости. Нет и прибитого жизнью очкарика, который ползком пробирается через собственные сочинения.

О, извечный, такой русский мотив заколдованного молодца и тающих под лучом любви вредоносных чар!

Место, где бросил якорь, дон Валериу называет старинным полузабытым словом: убежище. В убежище убегают? Или упекают? Его упекли... Не благодный старичок. Неудобный. С библейским жалом в плоти и язвительным умом.

– Если бы фельдфебели писали стихи, – ерничает он, – то как... Гумилев. У него слово всегда имеет единичный, жесткий смысл. Не как у Мандельштама...

В стихах – другое отношение к Николаю Степановичу. Правда, изящной вещице «При получении стихов Гумилева» уже почти полвека! Взгляды меняются. В теплой гнилой атмосфере благословенного Рио все процессы протекают быстрее и более бурно:

*Гордого кудесника и мага,
Господи, простишь ли Ты его?
Оживала под пером бумага,
Он творил, как Ты, из ничего.
Нынче я не наслаждался вдосталь
Книгой – завтра к ней вернусь опять:
Эту книгу надо, как Апостол,
Маленькими главками читать!*

Хозяин подтверждает мое предположение, что я первая из нынешних русских пиитов добралась до него.

– А Евтушенко? Он же тут был. Не нашел вас?

– Это я его не нашел! – и ухмылка в ладонь.

На мой вопрос относительно одного популярного «по ту сторону» коллеги:

– Читал. Ерундистика.

Отзыв о свежей «совписовской» книге поэтессы:

– Замечательная наблюдательность. Именно женская. Но слишком много разговорных форм. Спотыкался о слова, которых нет в русском языке.

– Какие же?

Листает сборник. Хотя шрифт крупный, четкий. Слепой дать не посмела бы – ему, с его-то зрением...

– Вот! – нашел и торжествует, что не голословен: – «Вскороности» нет такого слова! Нельзя говорить «может» – вместо «может быть», «может статься».

Спорить, цитировать как аргумент в защиту стихи великих бесполезно... После какой-то реплики он призывно по-свистал.

– У вас собака? – обрадовалась я.

– Собака... которой нет. Но которая была.

Радость от его недавно вышедшей книги подмочена:

– Ужасающее количество опечаток! Вместо «не» всегда «ни». За такое в Сибирь ссылают!..

Кстати, о Сибири пишет всегда с горечью. У «Блудного сына», «Изгоя», «Возвращения», «Возвращенцу» финал один: возврат невозможен, потому что его Ангары, его Сибири, его России давно нет. Узнаю антисоветские клише. Но боль не клиширована. Боль, она его, перелешинская:

*...Чита. Я на второй площадке
дом незабвенный разыскал:
в саду – картофельные грядки,
а во дворе – обрезки шпал.*

*Охранник сторожит ворота
винтовкой, саблей и штыком:
тащить и не пущать кого-то
он собирается в партком!*

*От дома уцелели стены,
от лиственницы – чёрный пенёк.*

*Зачем же лгали мне сирены
про ту, нетленную сирень?*

*Так вот родное пепелище:
дом обесчещен, сад изрыт...
Бездомен возвращенец нищий,
по-детски плачущий навзрыд.*

А раз так, лучше никуда не трогаться! Даже теперь, когда, казалось бы, можно. Когда приглашают, даже печатают. «Новый мир» и «Огонек» с его стихами, вырезка из «Вопросов литературы», где немного о нем, – всегда под рукой. Рядом с банкой кофе (роскошь, которую он себе позволяет – это в Бразилии-то!), горкой чистой бумаги, стопочкой конвертов – корреспонденты у него по всему свету.

Бытовые подробности его жизни печальны. Но не так, как могли бы быть, не безысходны. И он этим счастлив. Ежемесячное пособие из США: сорок пять долларов. Маленькая бразильская пенсия. Иногда денежные присылки от старых друзей. Этого хватает на бумажные и почтовые расходы, на кофе и конфеты. Фруктами не балуется.

Пребывание в доме престарелых обходится ему в сорок новокрузадос (примерно восемь долларов). Это – дешево. Все же крыша над головой и питание. Увы, на борьбу с домовыми крысами он ухлопал почти все свои сбережения, но избавился, похоже, надолго. Распорядок дня такой: рано утром кофе с хлебом, в двенадцать – завтрак, в пять – обед, в основном суп. В семь вечера запирают ворота.

– А если вы где-то задержались?

Судя по лукавому выражению лица, он задерживается частенько. О, у него тут пестрое общение. Спириты – старики и старухи. Дамы-патронессы. Красивые юноши.

– Если я возвращаюсь с опозданием, я должен предупредить. Но это уже... услуга.

Глобальные политические вопросы, что так мучают нас, вечных шестидесятников, его как бы не касаются вовсе.

Ариэля-Калибана волнует другое. Степень дозволенности того, что рвется в стихи из подполья. Надо ли что-то отметить и стоит ли ломать над этим голову? После Кузмина, Софьи Парнок то, что казалось когда-то дерзновенным, не становится ли ординарным?..

На фестивале поэзии в Амстердаме он встретил японку, которая обогнала его на пятьсот (!) лет. Именно в смысле раскрепощенности, разрешенности себе абсолютно всего. Для нее даже нет такой проблемы...

В следующую встречу я прочла ему свои стихи.

*Копакабана... Копакабана...
Путь вдоль Атлантики неспешен.
Меня встречает, как ни странно,
поэт Валерий Перелешин.*

*Он большеухий и большеносый,
живёт в скворечнике, как птица,
но с панскою цевницей росса
ему назначил Бог родиться.*

*В убежище, куда посмели
засунуть крошку Гуинплена,
продернут млечный звук свирели
жемчужной ниткою сквозь стены.*

*Здесь, где проблематичны двери
и где проблематичен ужин,
я с полу подыму, Валерий,
одну из раненых жемчужин.*

Горделиво, но с ноткой конфузливости, он спросил:

– А кто такой Гуинпен?..

...Валерий Перелешин скончался седьмого ноября девяносто второго года в Рио-де-Жанейро, где провел, пульсируя стихами, последние тридцать девять лет своего земного существования.

Передо мной письмо, напечатанное на папиросной бумаге. В докомпьютерную эру — другая для автора так и не наступила. Машинка явно барахлит, да и лента стерлась. Но текст достаточно разборчив. Если постараться, все можно понять.

А я, конечно, старалась. Ведь это первое и последнее адресованное мне почтовое отправление от Валерия Перелешина.

Дата: 30 декабря 1989 года.

Т.Ж.

Дорогая донна Тамара!

Обходиться по-русски без отчества невозможно, а по-португальски так очень просто. К мужчине обращаемся «сеньор», а «дон» только к прелатам и принцам переставшего царствовать дома Орлеан-Браганса. Зато титул «дона» применим ко всем представительницам женской половины рода человеческого. Итак, для тех, кто Вашего отчества не знает, Вы — донна.

Все три пишМаши побывали в ремонте, но лента явно оставлена старая. Это не моя вина, но Вам от этого не станет легче.

Прежде всего, надо сказать, что вчера прилетела Ваша «музейная» открытка от пятнадцатого декабря. Думаю, что валерьянка из ближайшей аптеки поможет вернее, чем даже вовсе прекрасные стихи (не Багрицкий, не Маяковский, тем более не Симонов и не Вознесенско-Евтушенский).

Расскажу и свои новости. Первого декабря подвергся я операции удаления катаракты с правого глаза. Третьего января предстоит вторая операция — на левом глазу. Дальше еще сколько-то недель и я буду удостоен очков. А с начала декабря не вижу вовсе ничего: переживаю разгул дипломии. Вчера ездил в Копакабану по денежным делам; меня провожала в оба конца наша старшая сиделка донна Отилия. Вечером было в Доме-Убежище гулянье с концертной программой. Из-за сле-*

* Двоение в глазах при параличах и парезах глазодвигательных мышц. — Т.Ж.

поты я не выходил из своей пещеры. Потом узнал из рассказов соседей, что эллинские нравы (скажем, средиземноморские) хранятся и здесь в целости. Этот сосед влюбился в мальчика лет пятнадцати, и тот ответил ему взаимностью, хотя старцу (аргентинцу, художнику и скульптору) семьдесят девять лет. На одной из репетиций мальчик шепнул аргентинцу: «Сегодня ночью я к вам приду». И пришел. Аргентинец рассказал о своем успехе мне, и я посоветовал ему пригласить мальчика с собою на райский островок Пакста в заливе близ Губернаторского острова. Сегодня с утра оба героя исчезли. Уже десятый час ночи, а их все нет.

А мне очень нравится сиделец из лавки напротив, прелестный отрок того же возраста Марко. Сегодня я почти шутя спросил его, когда же мы поедem в приморский городок Парати на стыке границ штатов Рио де Жанейро и Сан Пауло. Юноша ответил, не колеблясь: «Через два месяца. В марте.» В Парати я бывал неоднократно. Городок (заповедник архитектуры XVII века) расположен среди скал, а дальше – красивейшая бухта, точнее пролив, отделяющий материк от Большого острова. Снуют по нему моторно-парусные лодки, сдающиеся по часам. Славно гуляется по острову. Гостиницу (принадлежащую японцу) я уже знаю. Там дуют утренний кофе с обильными прилагательными, а завтракают и обедают постояльцы в ресторанах (мясо, рыба, креветки). Если Марко почему-либо не сможет поехать, возьму с собою нашего шофера Жоржо (тридцати четырех лет), который уже сейчас умеет меня нянчить. У него был многолетний роман с другим моим соседом Аиборто, но совсем недавно этот Аиборто скоропостижно умер от сердечного припадка. Жоржо не очень огорчился: «Так всегда бывает. Одни уходят, другие приходят». С женой он давно уже проживает раздельно, хотя у них, кажется, двое детей. Предвижу, что Жоржо будет отличной нянькой. Но все эти планы и мечты зависят от состояния моих глаз. Жена моего брата в Калифорнии тоже мучается с катарактами и с ними имеет много хлопот.

У Жени книга о Марине* может уже иметься. Тогда понятно, что он за книгой не прибежал. К тому же, он был недавно отправлен врачами в Крым после исключительно тяжелого приступа эпилепсии. Должен он оставаться в Крыму почти весь декабрь. Снеситесь с ним.

И Левин, и шот... (соту, голландцы) выдали мне по о д н о м у экземпляру моих книг «Русский поэт в гостях у Китая» и «Поэма без темы». Продают их...в свою пользу. Соврал я тут – «Поэмы без предмета». А шотландцы, кроме издания, выманили у меня все шесть изданных в Харбине сборников Арсения Несмелова с его собственноручной надписью на каждом, и, под предлогом какой-то выставки, украли мой золотой крестик. Теперь я написал им, что безоговорочно з а п р е щ а ю издавать что-либо вновь или переиздавать уже изданное. Они плакать не будут: новые жертвы всегда найдутся. Пообещай издать книгу, напечатай ее, пусть в продажу в свою пользу, а простофиле-автору выдай о д н экземплярчик. Поэтесса Валентина Синкевич из Филадельфии, уже дважды побывавшая в Москве, слов (пристойных) не находит, чтобы описать нравы эсшаанских** издателей. Называет их разбойниками с большой дороги, бессовестными рвачами. Таковы и эсшаанцы, и шотландцы, сиречь голландцы. Хуже воров: разбойники и мошенники.

Напротив, московское издательство «Правда» щедро оплатило мой материал в «Новом мире», «Октябре», «Литературной учебе». И заплатит за перевод «Дао-дэ-цзина», который уже читается с восторгом в московских литературных кружках – о чем писала подробно Ольга Кольцова: тоже знакомая милого Жени Витковского.

Есть в Петрозаводске поэт Юрий Владимирович Линник. У него или у собранной им библиотеки есть радиостанция, по эфиру которой мои стихи широко вещаются по всей северной

* Речь идет о книге С. Карлинского, посвященной Марине Цветаевой, которую В.П. просил меня передать своему многолетнему московскому корреспонденту, переводчику и литературоведу Евгению Витковскому.

** Очевидно, американских. – Т.Ж.

России. Это вам не карликовая Голландия, в которой есть и честные, и очень милые люди (как поэтесса Ханни Грун), но есть и акулы – посредники и живодеры.

Линник присылает мне свои сборники стихов, но также и всякие другие издания по-русски и даже по-польски: и это живое и не краденное.

Остаюсь с давнишней мечтой – побывать в Санкт-Петербурге, в Москве, в Крыму, на Кавказе. В курсе всех литературных чаяний находится и будет находиться мой верный Женя.

Еврейские мастера содрали за чистку трех пишМаш огромные деньги, но ленту оставили изношенную. Чтоб им икалось почаще. А я уже выдохся. Разрешите еще раз выпить стакан кофе и отойти ко сну.

Ваш преданнейший Валерий Перелешин.

P.S. от автора:

В журнале «Новое время» №35 за 2008 год напечатан очерк Панюшкина «Раненая жизнь», где дается крайне непривлекательный портрет современной Читы.

Меня поразило совпадение в названиях моего эссе («Раненый жемчуг») и этого очерка. В Чите я не была, крыть, как говорится, мне нечем. Скажу только, что несколько лет переписываюсь с профессором читинского университета Галией Ахметовой.

Познакомил нас Второй международный конгресс Достоевского в Москве. Знаю, что преподавание и творческая жизнь в университете – на высоком уровне.

Публикуются квалифицированные языковедческие и текстологические издания, проходят содержательные литературные встречи. В частности, проявлен был большой интерес к личности и стихам Валерия Перелешина, за что большое спасибо. Может быть, культура – тот рычаг, с помощью которого можно поднять, возродить Читы?.. Дай-то Бог, дай-то Бог!..

*пуще лета дорожу,
где безоблачные полдни
и сплошные облака?
Неужели я исполнен,
как последняя строка?*

* * *

*Снегирь по клавише одной
Тень-тенькает меланхолично,
Так убедительно, привычно –
Снегирь по клавише родной,
Что сразу слышится:*
зима,
*Над лесом жёлтая полоска,
Под ней дорога – как из воска,
И все в испарине дома.
И сердцем чувствуешь:*
пора
*С осенней праздностью покончить.
Ах, если б только – колокольчик
Да конский цокот со двора...*

Из П. Я. Чаадаева

*Мы принадлежим к нациям,
которые, кажется... существуют
для того, чтобы со временем
преподать какой-либо
великий урок миру...*

*Повторяю еще: мы жили,
мы живем, как великий урок
для отдаленных потомств.*

Петр Чаадаев

1.

*Я не болезнь, я боль твоя, Россия,
не праздное убранство алтарю,
но будто придорожная осина,
стыдом твоим горюю и горю.*

*Я – крик и кровь,
рассеченная бровь,
молитва, поднимающая крыши,
и та слеза, что катится в тиши.
И ты меня смотри не заглуши!*

*Шагни в огонь – и ты меня услышишь
и в слове «ах!» и в вопле,
и в мольбе,
я в тебе! –*

*Я не с тобой, не рядом
я не болезнь,
я боль твоя,
ты слышишь?*

*Иду, по язвам боязно ступая,
то острая, как нож,
но я – не нож,
то – нудная, подспудная, тупая –
осины оклеветанная дрожь.
И ты меня, как лошадь, не стреножь,
не жги, как придорожную осину,
что плачется, как нищий, на миру.*

*Твоим стыдом
горюю и горю:
я не болезнь,
я боль твоя, Россия...*

2.

*Неожиданно подал в отставку..
Высочайше объявлен сумасшедшим.
Из разных статей*

*Я виноват.
Я снова виноват.
Вина моя растёт, не убывает.*

*И это так бессмысленно бывает –
когда казнённый руки умывает,
как некий царь по имени Пилат.*

*Царю легко: он жертву избирает –
он мудростью своею восхищён.
Царю легко: он в шахматы играет.
А я стою на шахматной доске.
Я глянцевый, точёный истукан –
мне б загораться от царева взора!
Сгореть бы мне от рабского позора,
когда он сдавит голову мою,
и прахом лечь.*

*Но я ещё стою –
униженно,
недвижно,
одиноко:
я не играю, но ещё стою.
И бдит за мной всевидящее око.
И давят пальцы голову мою.*

*Вы видели, как плачет истукан –
как он слезами умывает руки?
Вы видели, как жертва умирает? –
так рыба засыпает на песке...*

*Царю легко: он в шахматы играет.
А я стою на шахматной доске.*

* * *

Ф. И. Тютчеву

*В неправильности русской речи,
Что нам как правило дана –
Как право – добывать со дна
Души все смыслы человечьи,
В неправильности русской речи –
Её святая глубина.
Она, нестройная, одна
Весь строй души живой покажет,
Не на бумагу буквой
Ляжет –
На сердце бременем любви,
Страданья, горечи, разлуки,
Когда вотще трепещут руки
И молит взор:
– Благослови!*

Воробьи

*На дороге, у Тарусы,
провода,
на них, как бусы,
греют спинки воробьи.*

*Греют косточки, щебечут,
взгляды остренькие мечут
вдоль навозной колеи.*

*Хорошо на солнце греться,
если есть во что одеться
и весна недалеко.*

*Светит небо, блещут дали,
все дымки – по вертикали –
подпирают облака.*

*Дай нам солнца, дай нам пищи,
дай нам, Господи, весны,
нищим всем и этим нищим
дай безмыторные сны.*

*Чтоб крылом крыла касались,
не касаясь кутерьмы,
чтоб – глаза в глаза –
спасались от зимы и от тюрьмы.*

* * *

*Весенний день прозрачен, звучен –
Шуршит по насту,*

давит лёд.

*Сосулька, капая, вот-вот
Отклеится – зеркальный лучик,
Лукаво глянув из-за тучек,
Сверкает в ней, как автоген.
Да будет миг благословен
Сосульки славного паденья,
Души моей уединенья,
Где споры все разрешены,
Где звук на грани тишины
И вид на грани сновиденья.*

* * *

Ружьишко на плече,

собака под ногами

*Весёлыми, летучими шагами
Я ухожу туда, где тишина.
Где озера лесного глубина
Немого неба отразила душу.
И я стою над этой тишиной,
Уже соединившейся со мной,
Которой я и словом не нарушу.*

* * *

*Белила, тушь, немного охры –
вот зимний, пасмурный пейзаж,
а то и просто – карандаш –
на белом фоне пара мокрых
ворон...*

Какие-то следы.

Да росчерк талой борозды.

И хватит!

Главное – бумага:

она – и всё, и ничего...

*А чёрной ночью вместо флага
мы трепет слушаем его.*

* * *

*Холодная сквозь валенок дорога –
Мороз под сорок
Сердце леденит.
И хочется, и боязно потрогать
Звезду, что над дорогою звенит.*

*О чём она – замерзшая жар-птица
Свой стекленелый простирает свет?
Что нет её –
Лишь свет её струится,
Как звук и смысл,
Когда поэта нет.*

* * *

*С людьми, как с Богом,
а иначе,
Увы, не стоит говорить.
Совсем нелёгкая задача –
В тиши молчание творить.
В молчании творить молитву,
В молитве – образ тишины.*

*Лишь так выигрывают битву
Без слёз, без крови, без войны.*

Шум леса

*Самая лучшая музыка –
Шум леса.
Каждый лист исполняет здесь свою партию,
Каждая ветка
И каждое дерево.
А мы говорим: «Шум» –
Потому что не можем выделить
Отдельного исполнителя
И даже не предполагаем дирижёра.
Мы не сердимся: «Опять шум!»
Мы говорим: «Весенний шум», –
Это значит, деревья оделись листьями –
Самыми тонкими голосами в хоре.
Самыми проникновенными скрипками,
На которых играет ветер.*

*Я ловлю листик – осенний! –
Беру за черешок
и говорю ему:
– Спой мне!
Ну что-нибудь
Из того, что ты пел всё лето...
А он молчит –
он мёртвый,
Деревья голые,
И ветер под Берлиоза, в четыре четверти,
Вызванивает сосульками.*

Александр Зорин

Дар Валдая*
Хроника деревенской жизни

В августе семьдесят шестого года жена моя решила провести отпуск на Валдае. Кто-то из друзей дал адрес. Места дивные и молоко дешевое. В первом же письме из деревни Нелюшка Таня писала, что осталась бы здесь навсегда, и что где-то в этих краях продается дом...

Кто не мечтал о сельском уединении, о собственном доме, да еще на берегу озера!.. Не пришла ли пора мечте осуществиться?

В те дни мне предстояла поездка в Таллинн – получить гонорар за переведенную книгу стихотворений эстонского поэта. В Таллинн можно поехать через Валдай...

В январе я крестился и с прилежностью неопита каждый свой шаг считал обязанным обсудить с духовником. С чем и обратился к отцу Александру Меню, в храме, после службы. Батюшка с видом заговорщика сверкнул глазами, ушел в алтарь и вынес оттуда записку к... настоятелю валдайского храма отцу Арсению. И сказал: «Он монах, молодой, энергичный, может быть в чем-то вам пригодится, а в чем-то и вы ему».

Поезд в Валдай приходит в семь утра. Найти дом священника было нетрудно и не боясь разбудить хозяина (монах, наверняка рано встает), я постучался. Тотчас услышал тяже-

* Печатается впервые. Журнальный вариант. – *Ред.*

лые быстрые шаги. Дверь открыл человек могучего сложения – румяные щеки, по-детски пухлые губы, яркая улыбка. Улыбнулся и я, увидев в сенях боксерскую грушу и две пары боксерских перчаток.

Далее начались чудеса, которые надо бы описать подробно. Отец Александр называл их авансом свыше, «подъемными» в самом начале пути новообращенного, которые он потом должен отработать.

Начать с того, что деревня, где продается дом, называется... Новая. Неужели случайное совпадение?! Ведь и мой храм Сретенья Господня, в алтаре которого отец Александр написал записку, находится в подмосковном Пушкино в деревне Новая. Далее. Хозяйка просила за дом четыреста пятьдесят рублей, ровно столько, сколько мне предстояло получить в Таллинне. Если быть точным, то издательство «Ээсти Раамат» прислало договор на сумму четыреста пятьдесят два рубля.

Но – все по порядку.. Хотя порядок нарушился из-за пропажи многих моих записных книжек. В начале восьмидесятых, когда вокруг отца Александра Меня стали сгущаться тучи, мы, его прихожане, почистили свои закрома от самиздата и «лишних» бумаг. Я свои бумаги отвез на дачу к другу. Он спрятал их в подполе, в целлофановом мешке.

Но после снежной зимы и бурного паводка вода просочилась в подпол. Кроме записных книжек погибли тогда и Евангелия, которые мы переправляли в тюрьмы. Тоненькие тетрадочки, отпечатанные мелким шрифтом на папиросной бумаге. Сложенная вчетверо, тетрадка помещалась в спичечном коробке.

Серое сентябрьское утро. На последней остановке автобус высадил меня – последнего пассажира. Забрал табунок молчаливых колхозниц и попылил в обратном направлении.

От колодца шла горбатенькая, малого росточка женщина. На коромыслице – два полные ведерка, поменьше обыкновенных. Полные – хорошая примета. Она и оказалась хозяйкой Евгенией Матвеевной Медуевой. Дом, который она продава-

ла, достался ей и ее брату по наследству от умершей тетки. В нем хоть сейчас живи. Он стоит на холме, чуть в стороне от деревни, отдельным хутором. Далеко внизу расстилается пойма заросшей речушки, торфяные болота, а за ними лес, куда, пересекая пойму, бежит извилистая лента дороги.

С недавнего времени запретили продавать дома горожанам. Покупателей много. Но райисполком никому не оформляет договоров. Последним был полковник в отставке, приезжал на своей «Волге». Начальство. Разговаривал с Евгенией Матвеевной, как с подчиненной, свысока. В райисполкоме сразу предложил взятку.

Евгения Матвеевна поняла, что я не начальство, разговариваю на равных и, кажется, прониклась ко мне доверием.

– Если вам тоже не оформят, то я сдам в аренду на десять лет. Двенадцать копеек за один квадратный метр площади. Примерно в год тридцать рублей. Это вас устроит? Или могу написать завещание... Как пожелаете, выходы есть.

Меня устраивало все в этом древнерусском пейзаже, от которого я глаз не мог отвести.

– У нас все дачники живут неоформленные, пользуются землей, сажают огороды. Нужно осесть, к вам приглядятся, а если увидят, что дом обновили, да еще лекцию какую прочитаете, то уж наверняка завоюете авторитет... Словом, езжайте в город. Вон машина едет в Ящурово, довезет до асфальта. Не застынете в кузове? А на асфальте вас любая подберет.

Так и вышло. В городе я был уже в половине одиннадцатого. В райисполкоме – совещание. В сборе все районные председатели, партийное начальство.

В двенадцать дня пятиминутный перерыв. Я пробиваюсь к председателю, к его столу. И глядя в глаза, выкладываю ему, что давно ищу возможность поселиться в деревне, что поэт, что смог бы в школе вести литературный кружок, что в Шуйском районе продается избушка... Показываю удостоверение и рекомендацию группкома московских литераторов, в котором я тогда состоял. Он почему-то улыбается, разглядывает мои документы и говорит:

– Ясно, жить у нас хотите... Но вот именно сегодня, сейчас на этом собрании мы еще раз напомнили председателям о строжайшем запрете на продажу домов. – Галина Васильевна, подойдите-ка сюда – приглашает он председателя Шуйского сельсовета. И все так же улыбаясь, повторяет: – Так что строжайше запрещено. Но вы, кажется, человек нам полезный. С культурой на селе плоховато. Молодежь из деревни бежит. Лекции ей были бы полезны...

И, продолжая улыбаться, передает мое письмо Галине Васильевне.

Та прочитала, испуганно глядит на меня, на него:

– Так ведь только что предупреждали, что нельзя...

– Но мы должны делать исключения, это на нашей совести. Человек нужный. Возьмите его заявление и оформите, как полагается.

29 мая

Троица. Праздник. На деревне тишина – ни пьяного голоса, ни трезвого... Да и не знает никто о празднике. На завалинке сидит баба Дуня, в стеганом бушлате, укутанная позимнему пуховым платком.

– С праздником, баба Дунь!

– А какой нынче праздник, все на работе?

– Троица.

– Царица Небесная, – крестится – церкви нет, колокола не звонят, откуда нам знать...

Я тоже не поехал в город, нарезал березовых веточек, отнес и бабе Дуне. Полянка в лесу, что видна с моего крыльца, оказалась недавней вырубкой. Вся белая от цветущей земляники.

Сейчас полночь. Сеет теплый дождичек, скрипит коростель. У Линника в стихах коростель заводит часы. Далеко-далеко поет соловей. А в конюшне, что под горой, гулко по бревенчатому полу переступают лошади. Забыли, наверное, их выпустить на ночь.

2 июня

– Не спит хозяин? – спрашиваю у Тони. Я заходил к ним на днях за старой drankой. Анатолий тоже возился с крышей.

Хозяин сидит лохматый, сосредоточенный, согнувшись на лавке, как на допросе у следователя.

– Ты красивый теремок сделал, – говорит он. – А я отстал. Лобок покрыл, а двор так и брошен.

– С этой пьянкой все бросишь, – встряла жена.

Эти знали про Троицу и три дня вкушали, как говорится, по Божьему благословию.

– Как же, надо, – говорю я сочувственно, – Троица, большой праздник.

– Я знаю, березка, – соглашается хозяин.

– С этого дня Христианская Церковь на земле стала существовать.

– Ага.

– Святой дух сошел на апостолов. Две тыщи лет тому назад...

– Во, культурный человек, все знает, все расскажет.

22 мая

Коля Белонин спрашивает у соседки:

– У тебя не осталось рассады? Мороз нынешней ночью был здоров, все огурцы съел. – А мне поясняет: – Раньше сажали на Троицу. А мы торопимся. Раньше погоды лучше были. За зимой лето шло. А нынче не сходится.

Электрики, что поменяли мне проводку в доме, на столб без бутылки не залезают. По стакану бормотухи и – вверх! Шутят: «А без стакана упадешь».

Пришлось ехать в город за счетчиком. Заодно купил умывальник, замазку, эмалированный таз, колун, гвозди, пробку-автомат, конверты авиа. Зашел к электрику, он с утра пьян, хотя

на столб не лазил. Дочка, лет пяти выговаривает отцу: «И чего ходишь тут, шкрябаешь! А ну!» Жена: «Пьянь проклятая, грабитель...». Он, равнодушно: «Молчи, сука, вот молоток-то...»

Дождь, похолодало. Вокруг в городе телогрейки, черные вельветовые жакеты, прохаря, навозные кучи на тротуаре. Мужик тащит полную авоську бутылок ликера. А хорошо! В самый кочан я попал, в самую, что ни на есть кочерыжину. В автобусе тепло, все пассажиры грызут семечки, шелуха шуршит под ногами.

3 июня

Утром пошел опустить письма в почтовый ящик, в «банку», как здесь говорят. Навстречу – народ: выбегают из домов, присоединяются к идущим, гомонят, что-то случилось. Поравнялись, и Клавдея, у которой я беру молоко, машет мне рукой:

– Пойдем с нам!

– Куда?

– В селе мясо дают, по рупь десять. Вам не надо?

Я мнусь, не знаю, что сказать...

– Ну, если нетрудно, возьмите мне...

– Сколько?

– Килограмма три...

Вот едет на мотоцикле Семен Пустов. Сзади к седлу приторочен мешок. Лихо обогнал толпу, пыль помелом.

– Александру Ивановичу, – приветствует меня Сергей Матвеевич со своего крылечка.

– А вы что ж за мясом не идете, – подхожу к нему, – вся деревня двинулась.

– Слышь, матка, – обращается он к жене, – в селе мясо дают, не пойдешь? Да нам могут не продать, мы ведь не работаем в совхозе, мы ведь другого Бога.

Жена отвечает:

– Коровенка-то дохлая. Вчера Санька видел, как резали, еле на ногах стоит.

– Да уж здоровую не зарежут, – согласился Сергей Матвеевич.

У Козловых свадьба. Оттуда тоже пропустили за мясом. В белых рубашках, в галстуках и пиджаках, кто с сумкой, кто с чем.

На одну-то коровенку... И я туда же: три килограмма!

За полночь. Зловещая красная луна. Заря зелено-алая, с белыми крыльями. Господи, Господи, спасибо тебе за эту красоту первозданную... Туман залил весь луг, старый сарай без крыши плавает в нем, как древний ковчег. Щелкает соловушка, мечет из ближних кустов одну за одной серебряные стрелы.

5 июня

Маленький Ленька говорит старшему брату Саньке:

– А ну, Санька, сгоняй домой за тонкой веревкой.

Веревка нужна для рогатки.

– Дядя Саша, сделай рогатку.

– В кого ж ты стрелять будешь?

– В ворон. Они скворцов таскают. Сам видел.

Бабы разговаривают между собой:

– Ой, я телку-то буду резать, – говорит одна, чуть не плача.

– А что с ней?

– Да после быка. Лежит, ноги вытянула. Охает, как человек.

– Она первый раз гуляет, весной не гуляла?

– Не гуляла.

– Надо весной водить. А то коровы на нее полезут.

– Ну, уж коровы.... Теперь-то не лезят.

– А что они теперь поумнели, что ли?

Уже начинаются белые ночи. Танюша, жена моя, приедет в самую белоту. От нее, от мамы сегодня письма. Не оставь их, Господи.

Где-то брешет собака. Дергач ей поддакивает. И соловушка не умолкает. Жаль отходить ко сну в такую благодать.

7 июня

Вставай, вставай! Позже семи в этой обители спать преступно. Ночью глаз не сомкнул – размечтался, раздумался... И только под утро забылся, когда уже стали выгонять скотину. Первое теплое летнее утро. Щебечут воробьята в гнездышке под стрехой. Я побежал на близкое озерцо, наполовину заросшее камышовыми дудками. Два раза окупился в нем, как в блюдечке.

Лет пять тому назад озеро загубили мелиораторы. Спустили воду, чтобы набрать рыбы. Копнули ковшом берег в том месте, где сочился ручеек и поставили бредень. Вода схлынула, но рыба зарылась в жидкий ил, набрали не больше мешка.

Я посоветовался с трактористом Федей: как бы заделать пробоину, может озеро восстановится, ребятишкам будет где купаться.

– Да и бабам белье полоскать, – согласился Федя, – раньше-то полоскали.

Назавтра же он пригнал бульдозер и справился с работой до обеда.

– Две бутылки – оценил он свой труд. – Одну бригадиру, а другую, хошь, с тобой выпьем.

9 июня

Отчего мы любим птиц, а мыши вызывают в нас отвратительные ощущения? Хотя и те и другие, живя рядом с человеком, питаются крошками с его стола, выполняют одинаковые очистительные функции в его жизни.

Птицы – небожители, грызуны – земная тварь, носители ее заразы и нечистоты. Мы инстинктивно в птицах любим небо, а отвращение к мыши – отвращение от земли.

Храм в Новотроицком. Руины. Проваленные полы, осыпанная штукатурка, наполовину содранная крыша. Молился Господу и Богородице о возрождении Церкви на Руси. Кто знает, вдруг Господь обновит и этот храм, и я буду приходить сюда молиться. Сверху купол зарос березками, и на колокольне, вместо креста трепещет деревце.

Птицы в гнезде шебаршатся так же, как мыши. Но тревоги не вызывают, наоборот – спокойно: небесные жители за окном, как раз в изголовье.

В воскресенье заходил тракторист Федя. Спрашивает: «Жива бутылка-то»? Это он о водке, которую я обещал за бревна.

Четыре Фединых бревна лежали неподалеку. Не знаю, зачем он их припас и почему не доволоч до дому. Бревнышки – в самый бы раз мне венцы заменить.

– Не продашь мне бревна? – спросил я его однажды.

– Бутылка. – Ответил он коротко.

И вот зашел за обещанной платой.

А днем позже, смотрю, два паренька грузят эти бревна на прицеп. Я им говорю:

– А Федя разрешил? Он мне их продал...

Парни, ни слова не говоря, сбросили поклажу с прицепа и уехали.

Следом пришла Фебина жена с сыном. И мигом располовинили бревна двуручной пилой. Наверное, узнав о продаже, она таким образом отомстила Федору: не торгуй нажитым. Я с ней объясняться не стал.

12 июня

День начинается рано. Размыкают мои сладкие сновидения овцы и козы – наглым бляньем и копытным треском. Они же верхолазы, их предки лазили по горам, вот они и взбираются на мое высокое крылечко. Я, конечно, их клянчу, но тут же и спохватываюсь: вчера на молитве просил св.

Александра поднять меня в шесть-семь часов. Вот он и насылает побудку. Весной стадное мычание и мат пастухов приглушались вторыми рамами, но я рамы вынул, и теперь весь ор и топот у меня в комнате, разгуливает по мне. Однако потешно орут парнокопытные – голосом Пана. То-то древние изображали его в смешных облициях.

14 июня

Поговаривают, что закроют школу. Младшие классы переводят в Новотроицкое, старшие в Шую. Известие это меня все-рьез озадачило. Я ведь хотел в старших преподавать литературу и вообще на базе школы заложить культурную программу – литературный кружок, краеведение. Что давало бы и какой-то заработок.... Был в городе, в исполкоме, слух подтвердился.

Утром успел на литургию. Церковная служба на древнеславянском языке. Язык держит дистанцию, чтобы молитвословие не опускаться до обихода. Но ведь никто не понимает службы, за которой читается Евангелие. А и надо, чтоб не понимали. Просвещенная вера всегда была опасна Российскому государству. «Горе народу, не знающему Слова Божия, – говорит отец Арсений, повторяя слова известного проповедника Владимира Марцинковского, – вот оно и накатило в семнадцатом году».

В очереди за селедкой. Две молодые мамы разговаривают меж собою: «И почему это все дети любят пиво? Сережка мой схватится за бутылку и не отпускает».

Молодой человек, в галстук, стоящий за ними, заявляет авторитетно: «Да потому что вы их по пьянке заделали».

Военные части, которых много вокруг Валдая, привозят в городские магазины излишки своих продуктов: соки, масло, печенье. Эти излишки составляют большую часть торгового оборота в городе. Но их расхватывают в миг. Продуктов не

хватает. Многие жители за харчами отсюда ездят в Тарту. На поезде за два дня оборачиваются. Ночуют на вокзале.

Валдай. На главной улице, на проезжей части, напротив Загса спариваются кошки. Наверху сидит огромный рыжий котяра. С высокой лестницы брачного заведения спускаются еще двое. Рыжий продолжает свое дело, и через минуту сходит с пьедестала... Она – все также распластана и призывна. Новый кот, как гимнаст, впрыгнул на нее и вцепился зубами в загривок. Но дело у гимнаста не ладилось, и хвост его нервно подрыгивал перед мордой рыжего. Тот тяпнул дрожащий хвост, неудачливый собрат завопил и отпрыгнул в сторону. Тотчас рыжий занял свое законное место.

Мы ведь тоже не стесняемся их в интимных обстоятельствах. Но стыд – моральная категория, в природном мире не существующая. Не замечая прохожих, они чувствуют себя, как в алькове.

17 июля

Уже неделю не привозят в магазин хлеб. Якобы, рабочие оставили пекарню, недовольные низкой зарплатой. Так мне объяснил местный коммунист Балдин. На самом деле нет хлеба в стране, а не только в Новой деревне.

1978 год.

13 августа

Настеньке два месяца. Положили мы ее в корзинку, на багажник водрузили коляску и прочий скарб, и отправились на легковой машине нашего друга в свое валдайское поместье.

У въезда на кольцевую дорогу, где невозможно остановиться, небольшая поляна. На поляне к колышку привязана коза. Хозяева, наверное, привязывают на день, сами с утра на работе. Мальчишки окружили козу, как движущуюся ми-

шень. Коза мечется под градом камней, веревка укорачивается, накручивается на кол.

Спит доченька в корзинке. Еще ей рано видеть подобные детские забавы.

Сегодня ходили за малиной. Вблизи от дороги все потоптано и выбрано. Забрались подальше, в чащу. Коляску плотно обернули марлей, поставили на бугорочке. Настенька молчит, а над коляской стоит шмелиный гуд и тучи комаров. Нас они жрут беспощадно, больше отмахиваешься и колотишь себя, чем берешь ягоду. Настенька молчит, значит до нее кровососы не добираются. Почивает, усыпленная лесным духом, огражденная марлей и нашей молитвой.

14 сентября

Нет, об этой красоте прозой не скажешь. Писалось, пелось, как в лучшие мгновения жизни. Страшно, вдруг что-нибудь помешает... Сам прервал этот полет, поставил точку, исправив летошние стихи. Взял ящик с инструментом, пошел к Евгении Матвеевне починить калитку. Господи, спасибо за все.

Холодный, как молодой ледок воздух. «С завтрашнего дня разведрится», – говорит Евгения Матвеевна. И правда, ясно, луна сияет, затопила все кругом упоительным звенящим светом. На урезе горы, облитые лунной фарой, два зайчика. Шелевят ушками, слушают в мою сторону, что за зверь топает. Тикать или не тикать? Еще два моих шага и припустились, только я их и видел.

Как, наверное, с Мамаем битва прадедам была, так мне – молитва. Мысли мельтешат, как мошकारа. И слова беспомощны... С утра в лес пойду пылающий... Осина мне протянет руку из костра, лопоча бессвязно и бессильно. О, как скорбно лебеди кричат на холмах отеческого берега, там, где оком выпуклым бочаг смотрит в душу – в омут человека. Холодно и

тихо на земле на родимой... Углями в золе шевелятся города и веси. На рассвете позднем, на заре, Господи, уста мои отверзи...

В полночь вышел в сени, зажег свет – метнулась в потолок летучая мышь. Не дом, а терем со всяким зверем. Перебираются на зиму в лубяные хоромы.

15 сентября

Утром, без стука входит Витя пастух.

– Нет ли водки за деньги? – достает из штанов мусленные трешки.

– Нет, я не пью.

Вчера он выкушал литр, сегодня болеет, но коров надо пасти.

– Попей чайку крепкого, – предлагаю ему.

– Во, давай. А за бутылкой Пузырина сгоняю, он сегодня у нас дежурный.

Позавчера была у них зарплата, третий день никак не отойдет. Пастухи получают в месяц двести двадцать рублей. Зимой работают в лесничестве. Деньги хорошие, да ведь за даром не платят.

– Хопь ноги покажу, – говорит Виктор, будто уловив мои мысли, – вены у меня во, раздулись от резины да от ходьбы. А кирзовые надену – мокро. Лето нынче одна вода.

Выпил чашку, разомлел...

– На еду мы не обижаемся. Еда у нас сейчас хорошая. Я, например, поросенка держу, овец, корову – обязательно. Сам подою, сам корма дам. Баба на дворе. Летом и ей помогу, пал пятого встану, а пал шестого уже выгоняют... О, отошло немного сердце, думал, помру. Спасибо, чаем накормил. Я вообще-то не пью. Ну, с получки, или в субботу, это у нас всегда. Она маленькую возьмет. И сама стопочку выпьет, после бани-то.

О жене, не упоминая имени, всегда в третьем лице – безлично: «она».

17 сентября

Собрал из старых штакетин Евгении Матвеевне новую калитку, поправил забор, заменил несколько столбов. За что был награжден ведром яблок. Господи, спасибо, за все.

18 сентября

Целую неделю не было в магазине хлеба и я с утра – говорят, привезли и чтобы досталось – отправился в Новотроицкое. Бабы уже давно здесь. Держатся строго очереди, как в послевоенные годы за мукой. Показалась на горизонте завмагом Зина. Не продавец, хотя она торгует одна, а завмагом. Так почетнее. Она в деревне человек номер один, бабы перед ней заискивают. Со мной однажды разоткровенничалась: «Я троих выкормила. Сыты-рассыты были в войну, я в магазине работала. На такую грешную работу устроилась».

– Кто в субботу брал хлеб, давать не буду, – мрачно предупреждает Зина.

Хлеб был привезен в субботу к концу дня и новотроицкие успели набрать, кто по десять, а кто и по двадцать буханок. Берут охотнее черный, он дешевле, берут помногу – для скотины, хлебом кормить дешевле, чем сеном.

– Ты по буханке давай, по буханке, – волнуются женщины.

– Да мне соседке отдать, в долг набрано, – оправдывается берущая.

– Как же так, кому двадцать, а кому одну?!

– Ничего, картошки много, с голоду не подохнешь, жри ее больше, как в войну.

– А то. И с кожурой жамкали.

– Счас с голоду не помрешь.

– За три километра придти за хлебом и вернуться ни с чем, – сетует, судя по голосу, дачница.

Маша Белонина рассказывает:

– Вчера картошку убирали, смеху было. Мои мужики-то передрались. Весь день друг друга гвоздили. Потом Васька

уж свалился. А мой к нему подходит, каменюгу взял: хошь, грит, убью! Стучает его по голове, как по бочке, аж гудит. Убил бы, грит, да сидеть за тебя неохота. Потом сгреб его да в лужу. Васька из лужи вылетел. А он его опять туда, да под кряж поволок. Ну, кино, весь день... Со смеху помрешь!

Та же дачница не выдержала:

– Вот люди! Что же здесь смешного, убивают друг друга...

Шестьдесят лет советской власти!

Тут уж я улыбнулся. За советскую власть ей стыдно.

19 сентября

Ох, Господи, тошнехонько! Нахлынули грустные мысли. Сбежал от них в лес. Набрел на поляну брусники, долго-долго собирал по ягодке под сиротливый шум осины. Ягодки мелкие, как мышьиные глазки. Что-нибудь, да соберу для мамы. Для нее это лекарственная ягода.

Черно-синее чужое небо. «Что есть человек, что Ты помнишь его» (Псалом.8;5).

Сосновый бор одарил меня огромным, чистым и крепким боровиком. Одного на большую сковороду хватит. Помоги, Господи, не падать духом, не падать в яму...

Собирая бруснику под осиной, слышал ее земной бессвязный лепет и шум, а Твоего голоса, Господи, не слышал.

21 сентября

Рождество Богородицы. Зашел Сергей Матвеевич: «Нет ли гвоздиков, десятки, штук пятьдесят?» По случаю праздника налил ему стакан и себе стопочку. Он, благодарно: «Грибков малированных ужю принесу». Взял у меня миску и, прячась от жены, стороной, обойдя окна, шмыгнул в баню, и таким же путем, хоронясь, вернулся обратно к полному стакану.

Осиновые листья на мягком изумрудном мху – кровавые капли. Лампы мухоморов, рыжие могучие папоротники.

Они растут целыми колониями: желтовато-бурые, свалаявши-
еся, как верблюжья шерсть. Неторопливо поскакал от меня
заяц, вверх по бугру топ-топ, безбоязненно, большой какой,
с волка!

Вдруг юркнула под ногой мышка и застыла, оцепенев.
Глаз – брусниченка – смотрит, наверное, на меня: во что-
то темное и громадное, присевшее на корточках. Дома мышья
вызывает омерзение, в лесу любопытство. Наверное, мышьяки-
полевки, живущие самостоятельной трудовой жизнью, долж-
ны отличаться от тех нахлебников, что живут рядом с чело-
веком на полном его иждивении.

23 сентября

Давно нет писем из дома. Полночь. На дворе темень и
тишь. Вдруг – стук о землю. Господи, что это?.. Еще стук...

Яблоки падают. У соседей, метров за сто... А как слышно!

Не хочется уходить из леса, хотя вот-вот стемнеет. Пья-
нящие запахи и краски. Далеко, километра за два, слышно,
как брешет пес в деревне. Эхо ухает в лесу, как в комнате. В
эту пору лес идеальный звукоотражатель. Чем это объяснить:
разреженностью воздуха? Жесткостью пожухлой листвы?

Лес, как мощный костер, по-осеннему гулок и ясен. Два
глубоких глотка из него – и заходится дух. Чуть колеблемый
лист ослепительно падает наземь. Где-то стадо пасет, мате-
рясь деловито, пастух.

Так и хочется верить, что сил вдохновенных – избыток...
Впереди сентябрь, потянувшихся в стаю, не счастье... Книга
неба раскрыта над нами, не свившийся свиток, – значит вре-
мя вчитаться еще и одуматься есть.

Ах, какой же простор на стесненную землю пролился! И
предстала она, хоть на миг, золотой-золотой. Счастлив я в
этот день? Счастлив тот, кто еще не родился. Слава Богу за
все, как сказал осужденный святой.

Вот и вышел закат и калиновый куст окровавил. Свежим ветром махнул и изранил его в решето. Красноперый закат и меня в стороне не оставил – свил в прозрачных ветвях и во мне напоследок гнездо.

27 сентября

Царство Божие подобно зернышку смоквы, из которого, из маковки, вырастает раскидистое дерево. Под сенью дерева отдыхают небесные птицы. Но что для Господа один день, для человека тысячелетие. Между зернышком и раскидистым деревом пролегают геологические эпохи. Я чувствую по себе, как ничтожно малы сдвиги роста, духовного развития – их практически нет. Хотя Царство Божие утверждается неприметно.

Но человеческое нетерпение пытается их отметить, и от тщетных попыток впадаешь в уныние, в озлобление... Рост мой – процесс геологической медленности. Я еще где-то бултыхаюсь в Юре, во влажном климате беспозвоночных.

Господи, помоги мне не суетится, не фиксировать свои скоростные потуги неверным спидометром. Выбросить бы его в форточку, как поступил мой брат с термометром, когда у него появилась потребность мерить температуру каждый день. Он заболел туберкулезом, но после того, как освободился от термометра, стал чувствовать себя хорошо и о температуре забыл.

Вот и закончился мой день рождения – в одиночестве и тишине.

А начался он с литургии, с причастия. Отец Арсений в отпуске, заменяет его отец Милентий. Во время исповеди на ухо прошпарил мне пулеметной очередью все грехи, какие только бывают, вплоть до убийства кошек и собак, в чем я должен каяться.

Далее в городе – магазины – на полках один «минтай», рынок – километровая очередь за сливочным маслом, рассыпчатым, как халва; переговорный пункт. Еле прозвонился

в Москву. Далее санэпидстанция, куда я зашел за крысиным ядом, о котором просил по телефону на прошлой неделе.

– Мы вам все приготовили, – встретили меня любезные женщины, – а у вас бумажки нет, или целлофанового пакетика?

– Разве яд не в упаковке?

– Какой там! По плечо руку в мешок суешь, – ответила женщина и я с ужасом посмотрел на ее руку.

На моем столе огненные калиновые ветки с того куста, окровавленного закатом...

30 сентября

Снег, снег, снег. С утра было пасмурно, потом стал сеять мелко-мелко и вдруг повалил со свистом и уханьем. С ночи еще задул ветер, я знал, что принесет непогоду. Намело уже высоко. Овцы вернулись утром голодные. Напали на стог сена, давай его теревить, благо, жердина поломана в изгороди и пастух далеко.

На крыльце птичьи следы, сорочьи, наверное. Сороки облюбовали мои хоромы. Толкутся на крыше, того гляди разметут ее своими железными хвостами.

В поле, как в штормовом море: черное небо, черный лес. Глаза поднять невозможно – выстегает снегом и дождем. Но мне не грозит под монашеским капюшоном. Каково же вернуться после такой свистопляски в теплую избу..

1 октября

С утра опять снег, а в полдень брызнуло солнце и в прорывах туч показалось полуденное палестинское зеленое небо. Сине-зеленое.

Тающий снег пахнет – будущим, надеждами, веснами, влюбленностью и еще чем-то юношески-чистым.

Комитет по Нобелевским премиям сообщил, что кандидатами на Премию мира представлены советские диссиденты,

группа содействия по контролю за выполнением хельсинского договора: Орлов, Гинзбург, Щаранский и другие.

Наконец, привезли хлеб. Не было неделию. Народ хлынул, как на Ходынку. Бегут. «Мань, я за тобой!» «Николай, займи, я щас, корове только дам!» Хлеб дорогой – тридцать одна копейка, против двадцати в прошлом году.

6 октября

Отец Арсений все еще не вернулся из поездки. Старушка, которая прибирает в храме, пояснила: «их шесть человек послали с нашей епархии. Мы думаем, небось, в Афон-город». Старушка разговорчивая, мы стоим с ней в очереди за маслом. Про отца Арсения рассказывает:

– Каждый день купаться бегаёт. Смотрю, летит! Быстрый такой! Я ему говорю: «отец Арсений, вы, наверное, автобус можете перегнать». А он отвечает: «не знаю, не пробовал». Скорый такой, ну прямо самолет.

Снова санэпидстанция. Бригада женщин – морильщиков всякой нечисти. Сидят за своими рабочими столами, и все, как одна, смачно хрупают и чавкают, и жамкают яблоки.

– Не действует ваш яд, – говорю им.

Они, как на давно известный факт, понимающе молчат, а одна советует: «Вы возьмите лампочку электрическую, мелко-мелко ее растолките и в яд насыпьте». Я смеюсь: «Так можно и без яда стекла натолочь, без вашей эпидстанции». – «Ну, нет, в яду лампочка лучше разъест им кишечник». А другая обреченно подхватывает: «Отопьюца! Вон сейчас воды сколько...»

Женщина на рынке: «А он меня матюгами, да матюгами. А мне что, матюги в плечах не болят». То есть, моральная сфера руганью не затрагивается. Ее и нет, моральной сферы.

То же и другая пословица, давным-давно выжуженная мной из Елецкой деревни: «Брань на вороту не виснет». То, что физически – рукой, плечом, шеей не ощущает человек, того

не существует, того, как бы нет. Уродство человеческих отношений не замечается, если оно, уродство, не травмирует физически: не сворачивает набок нос, не вышибает зубы.

Впрочем, привыкают и к этому. О вырванном глазе я слышал в Якутии, среди бичей: «Хорошо вчера погуляли, весело было. Кольке глаз выбили». Да зачем в Якутию тянуться, когда и в нашей деревне точно так веселятся...

Еще картинка. Сидит на лавке старуха. Обязанная двумя платками, один из-под другого виден. Много на ней всего накручено-надевано. А поверх всего напялена могучая телогрейка, с одного боку измазанная глиной. Ноги, вставленные прямо и плотно в кирзовые сапоги. Личико старухи алым пятнышком выглядывает из пестрых платков. Алой тряпочкой ротик, малиновые щечки.

Она села, сняла с себя переметные сумки, подняла высоко плечо и левой рукой полезла в карман, измаранный засохшей глиной. Зачем же она полезла?.. За пирожным! В этот момент на лавку рухнул вдребезину пьяный мужик. И стал почему-то бабку ругать теми самыми матюгами, которые в плечах не болят и на вороту не виснут.

Старуха ему: «Я не слышу». И сама поспешно обеими глиняными ручищами эклер между щечек тырк да тырк. Облизала пальцы, все пять, и теперь уже полезла правой рукой в другой карман. Ну, думаю, сейчас второе пирожное вытянет, а то чего и позакковыристей, ананас, например.

Ничего подобного. В руке ее забелел, а точнее зачернел носовой платок. Какой-никакой, и у других бывает не чище, однако, старуха в хозяйстве своем глиняном держит и носовой платок.

Но неисповедим русский характер. Платок ей нужен для другой цели. Отрывает от платка полоску и перевязывает целлофановый мешочек с помидорами. Перевязывает очень ловко, сминая одной рукой в свиное ухо устье мешка, а другой мгновенно обматывая тесемкой. Отработанный прием — на скольких тысячах колхозных мешков за свою жизнь?..

Теперь в руках ее оказался шитый бисером кошелек. Опростала его в горсть себе и говорит справа сидящему школьнику: «Отсчитай, сынок, тридцать копеек». Сынок ей отсчитал. Остальные спустила в кошелек, сграбастала свою переметную кладь и пошла к ларьку с мороженым.

Подошел автобус. Грянули одновременно Ледовое побоище и Куликовская битва. Женщина в оттопыренном пальто придерживает под платьем что-то живое, остроугольное, молчащее. Ей удалось вырваться из поля боя одной из первых и захватить сидячее место. Автобус тронулся, и из-под вздыбленного платья рванулся режущий поросячий визг.

9 октября

День рождения Цветаевой. Да облегчит Господь ее участь на том свете, на этом она безмерно страдала и страданием своим многих спасла через свои стихи.

Для рыцарей и певчих птиц в кустах запрятанная ловко, растянутая вдоль границ, долгим-долгошенька веревка.

Та петелька на полземли накинута, шелохнулась под окнами любой семьи. На ней – в Елабуге стянулась.

В канаве, у обочины дороги лежит корова. Было совсем темно и ее черно-белый силуэт возник внезапно, когда я с ней поравнялся. Она залегла в канаву от сильного ветра. Пьяные пастухи забыли ее где-нибудь в кустах.

Я хотел ее поднять, потянул за рога, помахал перед мордой веткой, лежит, как каменная и только слабо-слабо и жалобно помыкивает. Или она понимает, что я не пастух и не боится меня, и просит по-своему по-коровьи: отойди от меня...

Или объелась чего-нибудь: раздутый живот. А может настала пора рожать? Эта корова колхозная. Никто ее, сиротиночки, не хватится. Пустует стойло. Доярка подумает: «Мне меньше работы. Да и где ж ее, паскуду, ночью сыщешь!» А она лежит в канаве и жалобно мычит.

Душа в момент смерти вылетает из тела, как птица из гнезда.

1979 год.

12 апреля

Зима прошла без происшествий, если не считать волчьих набегов. Сожрали за зиму пятерых собак. Одну возле клуба, когда там гремела музыка и танцы. Замечали и около моего дома много волчьих следов.

14 апреля

Девятого апреля Матрена-наставница. Чибис прилетел, на хвосте воду принес. И правда, приветствуют меня на дороге. А один подошел под окна. Султан колышется на ветру, перламутровое перо. Красивый и важный, как голливудская кинозвезда.

А сегодня Мария-зажги снега. Проглянули проталины, по здешнему пеженки. Пегая курица, пегая корова. И снежные поля, прожженные проталинами, тоже пегие.

Зимние волчьи налеты свежи в памяти. «В лес идете, берите топорик, все отмахнетесь», – советует Евгения Матвеевна.

23 апреля

Сергей Матвеевич зимой не успел вывести из леса сено, накошенное в прошлом году. Хватило ближнего. Но вывести надо, на подстилку скотине, а то и продать. Не гнить же сено в лесу. Собрался сегодня. Я вызвался помочь.

Поехали на тракторе, втиснулись в кабинку. За трактором на тресе тащится большой стальной лист – противень, пена. Почему, спрашиваю, пена? А потому что он снег пенит. В лесу еще много снега. На пене и приволокли огромную скирду, очень немного рассорив по дороге.

Сегодня чудесный день – мягкий, пасмурный. Снег не тает, а как бы улетучивается, растворяется в воздухе, который его облегает теплою шапкой. Сугроб под крыльцом совсем истоньшился, стал похож на грязный половичок.

Лешка с банкой и топором направился к березе. Я предложил ему стамеску вместо топора, чтобы рана у дерева была небольшая. Сок струится быстро. Я тоже поставил под свою березоньку, что растет на бугре. Ранки потом замажем землей.

Спать не хочется. Юный рассвет сыпет в окна мне алые розы. Ровным заревом залитый свет, под санями звенит, как из бронзы.

Шорох слышен. Мужик за селом нагружает на розвальни сено. И сливается с юным теплом сладкий запах цветочного тлена.

Лешкина банка наполнилась березовым соком к вечеру, а я поставил ведро, банки дома не нашел. Быстро, бисерно зацокали капли по звонкому доньшку. Сияет новенькое ведерко под березой, что стоит у дороги задумчиво и тихо. К утру набежало с три четверти ведра.

Токуют тетерева. Их рокот накатывает из лесу – тугой и ровный. Будто шары скатываются по наклонному полю, по гулкому желобу к моему крыльцу.

Занимаясь дровами под навесом, слышу, остановилась поблизости машина. Кажется, солдаты. Передают из рук в руки ведерко, подолгу прикладываясь к нему. Наверно, в лесу где-нибудь с вечера поставили под березу, а сейчас, по дороге, захватили... Привольно им жить в этих лесах. Вот водитель еще раз припал к ведерку, передал его в кузов, браво попривил китель под ремнем и полез в кабину.

Вчера Сергей Матвеевич мне посоветовал: «Вы бы сменили ведерко на банку, возьмите у нас в пчельнике. А то в оцинкованном сок окисляется, нехорошо».

Я вспомнил его совет и принес из пчельника две трехлитровые банки. В них, наверняка, доживет сок до лета, до

знойных июльских полдней. Подхожу к березе, ведра нет. Палка, которою оно было подперто, стоит, а ведра нет. Сок покорно капает на землю...

Неужели солдаты опростали! Вот мазурики! И ведра не оставили... Пригодится в кузове ведро-то: бензин перелить или тавотом где-нибудь так же на шару заправиться. Сладко угостились! Ну как же не остановиться! Какой-то дачник, пинжак, поставил у самой дороги. Само в рот прыгает.

Ну, что ж, на здоровье. И весь день, сидя за столом, поглядывал на дорогу, не едут ли обратно...

Укрепил под березкой стеклянную банку. К вечеру набежало почти до краев. Хотел отлучиться на озеро, проверить подходы. Нет, думаю, банку надо убирать, а то ведь опять выдуют. Поднял за горлышко, она у меня в руках и рассыпалась. Была треснутая, не выдержала тяжести.

Далеко-далеко слышны журавлиные поклики. Журавлиная стая над лесом – полощется волнообразно, перетекая в клинья, в паруса, в долгую нить, в широкую подкову. И вот уже плещут над моей головой, тревожно курлыча.

Целый день в зыбком мареве блеет бекас – Божий барашек. Этот чудной звук создается перьями хвоста, тормозящими о воздух, когда бекас срывается вниз из своей невидимой высоты. Носятся трясогузки, хлопочут воробьи, по обочинам дорог высыпали веснушки мать-и-мачехи.

25 апреля

Что же, так и остаться нам без березового сока?.. Попытаю счастья еще раз. Нашел в лесу два деревца. «Березушки, красавицы, дайте Настеньке своего соку, чтобы она росла такой же чистой и спокойной, как вы». И они поделились своим богатством, хотя и не так щедро, потому что весенний паводок сошел, потому что всему свое время.

Вчера я остановил военную машину и пожаловался лейтенанту, нехорошо, мол: солдаты ваши мародерствуют. А не

исключено, что именно он и сидел в кабине. Вечером ведро стояло на месте. Не доходя до березы несколько шагов, я учуял грубый запах бензина, который исходил от ведра... Не ошибся я в своих догадках.

Слышно, как шумит вода на плотине. Словно где-то далеко идет и идет бесконечный товарный состав. Тоскливо кричат чибиcы. Прокрякала потревоженная утка. Раздалось еще несколько птичьих голосов, которых я не умею определить. И за всем этим разноголосьем, вбирая его в себя, как в сферу, не смолкает плотный и широченный рокот лягушек. Так рокочет стадион или, приложенная к уху, океанская раковина.

Полночь. Луна в золотом ореоле – к перемене погоды. Марс и Сатурн заметно сблизилсь за сегодняшний день.

10 июля

Вдоль дороги высокие заросли Иван-чая, между прочим, вполне пригодного для заварки.

Ветки, сильно пахнущего на кочках черники, свиношника. Пойдут бабы на болото, наберут полные ведра черники, а вечером жалуются на головную боль – ой, я свиношника напюхалася.

Тракторист Федя сдержал слово, приволок из лесу на своем трелевочном четыре хлыста. Получилось восемь бревнушек по шесть метров – два венца и остатки, тоже на что-нибудь сгодятся. Сегодня я их окорил, здесь говорят: окорзал. Солнышко. От них веет теплым лесным духом.

Семья воробышков, что живет над окном, за верхним наличником, слетелась на бревна и подбирает белеющих в траве короедов. Сладкая и обильная трапеза. Малыши-то наверное впервые едят такой деликатес.

Нюра пасет телят. Один отбилсь, забежал за ограду в посеы, и она, несчастная, гонялась за ним часа полтора. Одолела все-таки, догнала. Идут мимо; впереди, подпрыгивая, теленок. Я сочувствующе:

– Измучил, окаянный...

– У, падла, у него-то четыре ноги...– отвечает Нюра.

Брошенная изба.

Дятел на крыше сидит. Долотом деловито долбит. Дому хребет расщепляет. Гвозди на землю роняет.

Подхватывают скворцы их расторопно и бойко. Где-то, видать, у них стройка. Ай да скворцы-молодцы!

А этот сидит в одиночку и в крышу дубасит, как в бочку.

Кыш! Бестолковая птица! Это тебе не сосна. Сумрак сквозь дыры сочится. Пряжу прядет тишина.

Изредка торкнется в дверь ветер... а, может быть, зверь... И месяц блуждающим оком в избу заглянет, как в кокон.

16 сентября

Уже убраны поля, вспаханы, редко зеленеет озимь. Рыжие, красные, изумрудные холмы. В скирды собрана солома. И над скирдами, как над вулканами, струится пар.

Мужик в автобусе: «Глянь, солома горит». «Ага, – подхватывает баба, – они в дождь метаны». «И вон», – увидел мужик вторую дымящуюся скирду. «Ага, все кучи горят», – соглашается баба.

22 сентября

Проснулся в пять утра. Вчера пришлось выпить с односельчанами. Рождество Богородицы – бывший престольный праздник Новой деревни. Давно нет церкви, давно нет престола, а память о празднике хранится, и вся деревня вчера была пьяная.

Соседи пригласили меня в гости. Речь хозяина, как мне показалось еще трезвого, я совершенно не мог разобрать. Загадочная тарабарщина. «Пьяный, дык... – пояснила жена и перевела: это он вас с матерью в лесу встретил.

Выпили за верующих, за Богородицу, за Иисуса Христа... Я между тостами все же сумел рассказать об Иоакиме и Анне, о непорочном зачатии, о безгрешности Девы Марии.

Ушел из гостей затемно. В каждой жилой избе свет во всех окнах, слышны песни. И вот в пять проснулся в непонятной тревоге...

Впрочем, всегда после возлияний на утро просыпаюсь в страшных угрызениях совести, будто человека убил. Около шести прорезались из темноты окна и редющий туман за окнами. Вот обозначился телеграфный столб. Вот мелькнула птица. Снова мелькнула. Ну, думаю, воробышки начали свой день, пора и мне начинать.

Но что это! Птица, как будто сквозь окно влетела в комнату. Опять и опять бесшумно, как колонковой кистью, махнула по одному и по другому окошку. Господи, да это летучая мышь, да она, да вот она, надо мной... Как она оказалась в избе? Окна на зиму я запаклил и заделал замазкой. Пролезла в подпольную дверь? Им щелочки с игольное ушко достаточно... А в кухне пол у меня щелястый, давно пора залатать. Или они живут в подполе?... Свят-свят-свят... Прямо из сказок про нечистую силу.

Зажег лампу, отворил дверь и стал изгонять вурдалачину полотенцем. Несколько раз она чуть не задела меня по лицу крыльями. Наконец, выпорхнула в сени и стала носиться под потолком.

А Барсик – о, это уже был настоящий барс! – махом очутился на потолочной балке и в тот момент, когда вурдалачина на мгновение оказалась рядом, резким ударом закогтил ее. Впился зубами, спрыгнул с потолка, юркнул на улицу и тотчас же слопал ее всю, вместе с перепончатыми крыльями.

Надо бы побрызгать дом святой водой...

На тракторе за дровами в лес. Он уже во многих местах желтый, золото на зелени. Зеленый плотный мох и на нем, как на столешнице крупные лампы волнушек, чернушек, козлят и мухоморов. Безупречно-чистые боры. Голоса лесорубов слышны, как в комнате. Они сегодня все пьяные, из конторы расползлись по домам, бригадиру еле удалось их собрать.

На широких просеках белеют штабеля березовых дров – гладких, метровых: метряк. Шесть кубов метряка я загрузил в

прицеп трактора. Пока привез домой, пока сгрузил и аккуратно сложил возле забора, зачехлив кусками старого толя, уже стало смеркаться.

А скоро и совсем стемнело. В такую пору хорошо уйти далеко от дома и возвращаться на одинокий огонек в моем крайнем окошке. Какая-то птица, еще не улетевшая с родимых болот, шарханулась от меня в кусты. Тихо. И жутковато. На днях волки унесли прямо из овчарни четырех овец, одну задавили. В другой раз – собаку в Ужине. А в Новотроицах собаку загрызли, сорвали с цепи. Начали осеннюю охоту.

И правда, мне бы хоть ножичек перочинный с собою брать, отправляясь на ночные прогулки. Но до странности покойно и умиротворенно, когда видишь не дремлющее в ночи свое светящееся окошко.

23 сентября

В пользу колхоза нужно накосить девять тонн травы, чтобы получить с накошенного тридцать процентов, то есть две тонны семьсот килограмм – столько нужно одной корове на зиму. Не по силам одной семье поднять такой процент. Вот и режут коров на мясо. И осталось всего восемь буренок на сорок семей.

Муж учительницы Галины Сергеевны пьет, уже год не приносит домой денег, она с двумя детишками сбежала от него к родителям. Что еще более озлобило его. Сегодня вошел в школу – «убью!» Ученики десяти-двенадцати лет, защищая учительницу, закрылись в школе. Побежал за пожом. Ученики подперли дверь партами и щеткой. Разъяренный мужик расшатал баррикаду, но пролезть в образовавшуюся щель все-таки не смог. Матерится под окнами, размахивает ножом и кулачищами.

Галина Сергеевна бросилась звонить в милицию – телефон не работает. Сергей Матвеевич, отец учительницы и депутат местного совета насилие урезонили дебошира, припугнув, что завтра с почтой отправят заявление в милицию.

У Галины Сергеевны двое мальчиков. У старшего рассечена бровь – след отцовских побоев. Младший заикается. Еще новость: будто он ревнует жену ко мне, грозит в мой адрес. Я ведь теперь ее сосед, одинокий мужчина.

Обо всем этом мне поведали ребяташки, ее ученики. Они приходят ко мне слушать сказки. Разуваются у порога, садятся на лавку в ряд, я начинаю: «Буря-богатырь Иван коровий сын...» Слушают. Ленка болтает ногами. Я ей, между строк: «Леночка, ты как ветряная мельница. Ты разве мельница»? Алеша внимает, засунув в нос указательный палец. Я ему тоже, по ходу сказки: «Смотри, как бы палец в носу не остался. Чем щелбаны будешь бить Юрке?»

А Марина Тиханова, ей пять годочков, голубоглазая и беловолосая, большая любительница сказок, иногда, вдруг, заслушавшись, спросит: «А у вас телевизора нет? А у нас есть. Там мульти-пульти показывают». Замрет минут на десять и снова: «А у нас печка высокая-высокая». Сегодня пришла с куклой, предупредила: «Маша тоже хочет сказку послушать». Если сказка знакомая, дети начинают наперебой ее рассказывать. Алеша, сын учительницы, торопится, захлебывается, заикаясь.

Нестерпимо яркая луна. Светло, как в белые ночи. Лунная долина. Иней на траве. Трава седая, залитая лунным светом. Жутковато. Но страха нет. А только чудно. Безмолвно и чудно.

5 октября

Утро. Колю дрова. Шагает мимо Коля Белонин.

– Ну, Саня дает! Физзарядка.

– Куда, Коля, в такую рань?

– За соломой, для поросенка, пока никто не видит. Вот, гляди, след, соломка на земле лежит.

Возле моего крыльца по дорожке в направлении к полю просыпаны редкие соломинки.

– Семен, видать, подтаскиват, – замечает Коля. – А мне-то всего пясточки. Для поросенка.

У Коли шесть человек детей и одно легкое, оставшееся после операции. Застарелый туберкулез. Коля пьет порошки, за которыми ездит каждый месяц в аптеку и одновременно набирает на месяц «Примы», три блока, хватает аккурат до следующей пенсии. Зато вина в рот не берет и потому кажется кротким и безобидным человеком.

Бабы зазывают коров:

– Дочка-Дочка-Дочка, у, змея! Дочка-Дочка!

– Малюта-Малюта-Малюта, зараза! Малюта-Малюта! Куда пошла, ведьма!

Малюта царственно поворачивается на протянутый кусок хлеба и бережно берет его в губы.

7 октября

Раскидистую калину пригибают к земле тяжелые, как вымя грозди.

– Дяа Саша, дяа Саша, – кричат ребятишки, – гуси летят!

Огромная стая похожа на гребень волны в безбрежном бирюзовом просторе. Какой подземный толчок поднял ее и покатил, покатил. Прямохонько над моей головой, видно, притянул я их взглядом. Плеск и пережат крыльев. Не сказочные гуси-лебеди, опустились они не на озеро, а за моим домом на бурюю каменистую пашню.

У магазина толпятся женщины. Ждут Зину, завмагом, когда благоволит придти и отпустить привезенный утром, хлеб. Телогрейки, выцветшие платки, черные веселые лица.

– Старые-то мы никому не нужны, – вздыхает одна, при-мостившаяся на скособоченном ящичке. С ней соглашаются:

– Вон, Нюркина старуха лежала, под себя ходила. Дочки приедут, платком носы позатыкают: пахнет. А она ничего не соображала, еще достанет из-под себя, да по стене. Здоровущая така была. Ела много. Без памяти. Нюрка спросит: ты ела? А она забыла, ела или нет.

– А Тонька Бурьянова про свою что сказала: в рот бы ей натолкать. Чтобы оправлялась, когда надо. А старость пришла и саму также паралич разбил.

– Да, памяти нету совсем: где пообедаю, туда и ужинать иду, – пошутила первая.

– А кто за твоей ходил, Мань?

– Баушка.

– Баушка хорошая была.

– Зато у нее и смерть хорошая.

– Верно. На ногах померла. Уснула на лежаночке, в руке кружечка осталась и около губ мокрынько. Видать, отпила и преставилась.

Я слушаю и молюсь про себя. Господи, спаси Россию. Пошли, наконец, просвещение через Свое Слово. Эти женщины могут быть и добрые, и жестокие одновременно. Не просветленные Твоим словом, они – все та же земля, каменистая и бурая, из которой они растут и в которую лягут.

Отец Александр Мень как-то мне сказал на исповеди: «Вера – это не тихая гавань, а плато с дующим ветром, причем прямо в лицо, навстречу».

Детишки меня не оставляют: «Дя-а Саша, дя-а Саша, почитай нам сказку!» Особенно настойчиво просит Марина Тиханова. Она бойчее всех, слушает – нацеленная, вся в Змее Горыныче или в Иване Царевиче.

В некоторых сказках провиденциально запечатлено будущее России. Золотая рыбка, волшебное дерево («Жадная старуха») вынуждены потакать человеческой лени, но до поры до времени, насколько хватит природных ресурсов. «По щучьему велению, по моему хотению» – это безмерная зевота Ивана-дурака, пожелавшего иметь враз земные блага. Жажда чуда и нежелание или неумение его достичь приложением своих сил.

Чудо сказочно, несметно богато и могущественно. Но доставшееся дармовым способом, оно и исчезает мгновенно. Обнажает все то же разбитое корыто, превращает старуху в медведиху.

Путь к чуду долог и труден. Но осознание его сверхъестественной сущности преображает путь. Легко добытое чудо, – прообраз социального рая, – которое вот-вот обернется человеческим звероподобием.

Дерево, мышка с колокольчиком, коровушка-буренушка – добрые звери и предметы, помогающие человеку в ответ на его помощь и доброту.

Таковую отзывчивость человек редко находил среди людей, но потребность в ней, жажда добра искала реального воплощения и видела в тварном мире идеалы красоты и справедливости. Человечество, не знающее Боговоплощения и не могло иначе мыслить.

Но язычник не только идеализирует природу. Он боится ее: бабы Яги, Кощея Бессмертного... Мировосприятие язычника противоречиво и не может служить опорой в повседневной жизни. Новый, после Христа, человек не подавлен природным миром, не должен бояться ни ночного леса, ни костра инквизиции, ни сегодняшних преследований за веру.

«Не бойся!» – один из частых призывов, которыми Христос ободрял своих учеников, зная как трепещет от страха природный человек. «Не бойся, малое стадо!»

Вечером по дороге ушел далеко в лес. Возвращался затемно. Молодой месяц. Звезды мои родные, все на виду. Алголь, вурдалак по-арабски – бета Персея. Загадочная звезда с переменным блеском. В течение двух дней имеет разную световую величину. Вчера была заметно слабее.

Сапоги мои стучат по мерзлой земле. Сегодня весь день порхал снежок. « У нас около Покрова всегда снег падает», – говорит Сергей Матвеевич.

10 ноября

Немцы побили человек тридцать партизан в бою под деревней Н. На ночь ушли, а утром вернулись в танкетках, чтобы додавить раненых. Подморозило. Танкетки шли по

хрусткому ледку, по брызжущей грязи, по мертвым и еще шевелящимся телам.

Один человек, раненый в ногу, нашел в себе силы чуть отползти и спрятаться в канаве под кустом. Танкетки его не заметили. Опять настал вечер и человек увидел, как по полю, по дороге, где лежали раздавленные люди, шли женщины. Телогрейки, темные платки... Они шли с простой и понятной целью: взять то, что осталось от трупов. Какую-нибудь тряпицу, обувь, может быть.

Раненый видит, что к нему направляется женщина. Обрадовался. Глядит на нее. Живого не бросят. За поясом у нее топор. Нагнулась над ним, схватила здоровую ногу и ловко стянула с ноги сапог. Взялась за вторую, за раненую... Мужик взвыл от боли, не понимая, чего она хочет. А та, видя сопротивление полутрупа, обреченного смерти, вынула из-за пояса топор и деловито отсекла болтающийся в колене остаток ноги. Иначе сапог, набухший запекшейся кровью, снять было невозможно. Мужик потерял сознание.

Все же на следующий день его подобрали добрые люди и он выжил.

...А в соседнем селе, в столовой работали три сестры. Старшая Натаха – посудомойкой. Та самая. Мужик ее узнал. И когда немцы ушли, сообщил в милицию. Ему не поверили. Он написал в райком. Тогда ее привезли на очную ставку. Как только Натаха увидела мужика-калеку, затрепетала вся, как лист и побелела. Доказательств не понадобилось.

Окончание в № 234

Валентина Ботева

Перечитывая Гёте

Юность Гёте

*Пудренные парики,
кружева, камзолы,
променады вдоль реки,
и леса, и доли...*

*Деревенской кирхи шпиль
виден издали,
мчится всадник, вьётся пыль –
значит, будет встреча.*

*Будет рейнское вино,
клятвы до рассвета,
будет всё, что быть должно
на веку поэта.*

*Двадцать пять... Как юн ещё
автор «Новых песен»!
«Вертер» хоть и запрещён,
но уже известен –*

*в книжном Лейпциге роман
вроде самиздата.
А во Франкфурте – туман,
Лига адвокатов.*

*Хмурый фатер в колпаке
пьёт на кухне кофе.
Где-то в винном погребок
дремлет Мефистофель.*

*Будет всё, что быть должно...
Так оно и было:
ночью – клятвы и вино,
а с утра – чернила.*

Побег

*Тайный советник садится в карету –
кожа подушек, пружины рессор,
поколесит он по белому свету, –
что ему герцог и веймарский двор!*

*Тайный советник, но где же советы,
мудрые планы, недремлющий глаз?
Может быть, там, в полумраке кареты,
он сочиняет свой тайный указ:*

*«Если поймёте, что щастия нету
даже в любви, и не радует друг,
тотчас велите подать вам карету
и поезжайте немедля на Юг!*

*Там никогда не кончается лето,
с вечной Натурою слит человек...»
Тайный советник садится в карету –
тайный советник замыслил побег.*

*В сумке дорожной – пара жилетов,
пара рубашек, несколько книг.
Тайный советник садится в карету –
ворот распахнут и сброшен парик.*

Из записок молодого секретаря

*Старик стал неумерен в пище
да и в вине,
он ни минуты не был нищим,
и на войне
не метил в этот лоб упрямый
зрачок ружья,
к нему благоволили дамы
и их мужья.*

*Он вечный баловень Фортуны –
всё дело в ней!
Знал, как затронуть наши струны
знаток камней,
и человеческого сердца,
не без причин
пожаловал поэту герцог
высокий чин.*

*Советник Тайный! – как он важен,
отменно сух.
И лишь огонь из чёрных скважин –
из этих двух,
что даже не назвать очами,
вас обожжёт,
но тем надменной и печальной
запавший рот.*

*Как он устал... Был долгий ужин,
вино, коньяк...
Сидит он, натянув поглубже
ночной колтак.
Окно раскрыто – веет август
дурманом трав,
и знает одряхлевший Фауст,
что Вертер – прав.*

Die Sehnsucht

*Волшебное слово Sehnsucht,
Которому нет перевода,
Как будто тоскующий дух
Идёт по лазоревым водам,
Как будто глядишь на просвет
В ладони – в скрещении линий
Ещё не прочитан ответ
И скрыт, как источник в пустыне.*

*Волшебная флейта, зарок
Нарушенный, Рока дыханье –
Так ветер сквозит между строк,
Так гром отзывается дальний,
Так, весь обратившийся в слух,
Ты сразу и Вертер, и Лотта,
И чудится в слове Sehnsucht
Восьмая волшебная нота...*

Баллада о потерянном письме

*В ночные часы мы другие. Мы сами
себя не узнаем, взглянув поутру
в пустое пространство, застывшее в раме,
но чёрным пером промелькнув над горами,
двойник начинает другую игру.*

*Он сядет в карету бесплотную тенью,
он будет услужлив и вкрадчив, и тих.
Попросишь – и он остановит мгновенье
одним только взмахом – как кучер гнедых.
Но хватит о нём... Где сургуч и печать?
Почтовый рожок протрубил и умолк.
Из горного Гарца – Саксонией гладкой,
Вестфалией сонной – клубками дорог
летит голубая бумажная птица –
журавлик, стремящийся в руки тому,
кто прежде был рядом, а ныне лишь снится...
Но где же ответ? – ничего не пойму.*

*И май отцветёт, и закончится лето.
И осень наступит. И вот, наконец,
рожек у ворот протрубит, и гонец
почтовый, как ангел в сиянии света,
протянет не лилию – белый конверт,
увидишь меж пальцев знакомое «Верт...»
«Ах, Вертер! Как долго ждала я ответа!»*

*«Как долго я ждал... Как напрасно! Прости.
Молчанье твоё – приглашение к смерти.
Будь счастлива, а обо мне не грусти.
Твой Вертер».*

* * *

*Кто-то едет куда-то в карете тряской,
Умножая версты на время, чтобы
Надоевший сюжет завершить развязкой,
А забытый листик гинго билобы
Рассыпается в жёлтых страницах книги,
Что, едва закрыв, забываешь напрочь.
И читатель, тщетно прождав интриги,
Гасит свечку и дверь запирает на ночь.*

*Всё закончится скоро, ещё немного
Потерпи, о буквы глаза мозоля,
Впереди многоточие эпилога,
Точно заячий след посредине поля.
Но сошли снега, не найти сугроба,
И пора завязывать с зимней сказкой.
Наколдуй же счастье, гинго билоба,
Всем, кто едет куда-то в карете тряской.*

Римские пентаметры

Было не раз, что стихи сочинял я в объятиях милой,
Мерный гексаметра счёт пальцами на позвонках
Тихо отстукивал я...

Гёте. «Римские элегии»

*Нет, до сих пор не забыла я счёт этот мерный,
Но сокращаю на слог его – нетерпелива,
Южная кровь отличается этим, наверно,
Как от германского дуба седая олива.*

*Ты даже в страсти подыскивал рифмы, кифарой
Стан изгибался под властной рукой кифареда,
Знаю, любимый, мы не были равною парой –
Ведь для тебя и Венера звучит, как Победа.*

*Мне же милей поражение – кто ранен однажды,
Сладкую гибель свою не уступит здоровью,
Ты не увидишь, как я умираю от жажды,
Ибо её утоление зовёшь ты любовью.*

*Вот потому я – безвестная римлянка, Гёте,
Кто меня вспомнит... А ты будешь жить, хорошея.
По позвонкам, как по струнам – дрожащие ноты,
Гладкие пальцы. Горячие губы на шее.*

Перечитывая Гёте

*Взглянул в окно и подтянул подругу,
И долго ещё цокали копыта
По мокрой мостовой... Скажите другу,
Что больше нет меня. Что я убита.*

*Скажи ему, воробышек Катулла,
Отставший от летучей колесницы,
Что ветром злым мою свечу задуло,
Что наконец-то высохли ресницы.*

*И ты ему поведай, дождь осенний,
Что вечность миновала с той субботы,
Что никогда не будет Воскресенья,
Что Вертер жив, но нет на свете Лотты.*

*И ты, терновый куст – моя расплата,
Шепни ему, когда проскачет мимо:
«Ведет к страданью страсть. Любви утрата
Тоскующей душе невозместима».*

Прощание с сурком

*В час, когда кресла двигают к очагам
И набивают кнастером трубки впрок,
Мы с тобой знали – значит, пора и нам,
Если все в дом, мы из дому, мой сурок.*

*Пыль улеглась, и в поле такая тишь,
Только и слышно – колокол вдалеке,
Птицы уже умолкли, но ты свистишь
Старый стишок о мальчике и сурке.*

*Весело нам с тобою бродить вдвоём,
Если устанем, свежий отыщем стог,
Дрогнет звезда в ресницах, и мы уснём.
Помнишь рассветы летние, мой сурок? –*

*Для горизонта нам не хватало глаз,
Посохом Моисея цвела строка.
Но как охотник, время стреляет в нас...*

Я обернулась – нет моего сурка.

Конец Вертера

*В ночь полнолуния кажется чёрной кровь...
Точка поставлена. Не дотянуть до утра.
Но так и должна заканчиваться любовь.
Или роман? – да стоил ли он пера?
Теперь уж неважно. Пора собираться в путь,
Туда, где луна выбелила окно.
– Ганс! Сундучок с бумагами не забудь! –
Поправил парик, с манжеты стряхнул вино:
Красные капли – а до чего черны...
Не позабыть бы этот эффект луны.*

После Вертера

*Надо бы научиться вязать носки,
Как их вязала Лотта у камелька,
Наверняка ведь, не выла, как зверь с тоски,
Не напивалась – тоже наверняка.*

*Рюмку киршвассера? – это она вполне,
Но после ужина, за полчаса до сна,
Альберт откроет шкафчик, нальёт жене –
Что-то сегодня слишком она грустна.*

*Выскоблить миски – и в облака перин,
Трижды проверив на ночь дверной засов.
Нет, ей не снится больше тот господин
В жёлтом жилете. Дудочка. Крысолов.*

*Звуки волшебные, кажется, так близки,
Только мелодию не угадать никак...*

*Надо бы научиться вязать носки,
А не получится – будет ночной колтак.*

Фридрих Горенштейн

Старушки*

Рассказ

Ощипанная курица лежала на липкой газете, и старушка в прозрачном хлорвиниловом дождевике, надетом поверх халата, пыталась вскрыть эту курицу ножом.

– Мама, – сердито позвала старушка, – Господи, я же просила подержать...

На кухню вошла другая старушка, ниже и суше, в белом длинном платье и вязаных тапочках.

– Зачем ты надела белое платье, – крикнула старушка-дочь, – специально, чтобы меня позлить, да?

Старушка-мать молча улыбнулась, подошла к кухонному столу и положила ладони на курицу.

– Не здесь, – крикнула старушка-дочь, – видишь, ведь с горла капает кровь... Ты вся вымазана. Господи, шея, руки, лицо... Как ребенок...

Она вздохнула, положила нож, подошла к крану и долго мыла руки. Старушка-мать стала у раскрытого окна, глядя на шелестящее под окном дерево и на раскаленную булыжную мостовую.

Мать и дочь были до того похожи на первый взгляд, что, лишь приглядевшись, можно было обнаружить: глаза у них разные – у матери бледно-голубые, у дочери – темно-коричневые.

* Из архива журнала «Грани». – *Ред.*

Под глазами у дочери кожа набрякла, провисала мешочками. Кожа у матери, наоборот, выглядела чище, более тугой, может, потому, что, в отличие от дочери, была совсем лишена жира, и от этого лицо ее казалось даже моложе.

Старушка-дочь взяла синюю губку, подставила под кран, подождала, пока губка напитается водой, и провела ею по намыленным щекам матери. Матери, видно, было щекотно, она хмыкнула и попробовала оттолкнуть губку, но дочь еще ниже пригнула мать над раковиной.

Кончив умывать, она насухо вытерла мать ворсистым полотенцем, усадила ее на табуретку у подоконника, поставила на подоконник блюдечко, высыпала туда из кулька сливы, вновь натянула облепленный перьями дождевик и принялась кромсать кухонным ножом курицу. Ей удалось сделать надрез, она всунула в надрез руку, и в этот момент трижды постучали в дверь, затем, наверно, разглядели звонок и позвонили, тоже трижды. Старушка-дочь пожалала плечами, крикнула матери:

– Только не глотай сливы с косточками, – и пошла отпирать. Она приоткрыла дверь на цепочку и увидела в просвете какого-то молодого человека.

– Вам чего? – спросила она, – если вы из коммунхоза, готовьтесь к скандалу.

– Здравствуйте, – сказал молодой человек. – Я не из коммунхоза. Мне нужна, – он расстегнул молнию на кожаной папке, вынул оттуда бумажку, – мне нужна Конькова Клавдия Петровна.

– Это моя мать, – растерянно сказала старушка-дочь, – странно... А кто вы?

Молодой человек вынул из бокового кармана удостоверение и показал.

– Странно, – повторяла все время старушка-дочь, – здесь какая-то ошибка... Мама, – позвала она, – к тебе из органов.

– Вы не волнуйтесь, – сказал молодой человек, – это по поводу заявления вашего внука... Вернее, внука гражданки Коньковой... В связи с реабилитацией сына гражданки Коньковой.

– Ах, да, да, – обрадованно засуетилась старушка-дочь, – Володя писал... Господи, да что же я двери не отпираю... Мама, к тебе по поводу Васи... Вы проходите, извините... – она захлопнула дверь, откинула цепочку и снова открыла дверь. – Сюда, сюда, – сказала она, – в комнату.. У нас не убрано... Мама...

Молодой человек был рыжеват, щеки, лоб, руки, даже уши в веснушках. Он вошел слегка сутулясь, на нем был белый костюм из шелкового полотна, импортные босоножки, несмотря на жару, рубашка под галстуком. В комнате стояли две кровати, одна у открытых балконных дверей, двуспальная, никелированная, вторая у противоположной стенки, железная, узенькая. Между кроватями стол, какой обычно устанавливают в гостиной, овальный, на гнутых фигурных ножках. Полировка с него полностью слезла, остались лишь кое-где островки.

Стол был близко придвинут к стене, а у стены стояло некое подобие скамьи-дивана, тоже очень старое, со спинкой из плетеной грязной соломы. Стояло также два стула с круглыми спинками, какие теперь не изготавливают, причем оба в беспорядке, один посреди комнаты, а второй у зеркального шкафа.

Шкаф был сравнительно новым, поблескивал. Посреди стола помещалось пластмассовое коричневое блюдо, очень пыльное, и в нем лежали, громко тикая, карманные кировские часы в стальном корпусе и несколько монет. Рядом с блюдцем в тарелке лежал искромсанный, облепленный мухами арбуз. Мухи ползали также в лужицах вокруг тарелки.

– Полно мух, – сказала старушка-дочь, – тут рядом бойня.

Она прогнала мух, взяла арбуз левой рукой, понесла его к полубуфету, но правая рука была липкая, и она остановилась в нерешительности, видно, боялась испачкать дверцы.

Молодой человек положил папку на край стола, подальше от луж, подошел и открыл дверцы. Несмотря на жару, изнутри полубуфета пахло сыростью, гнилым погребом. На полках вплотную стояли банки засахаренного варенья, мешочки, один был весь в мучной пыли, возле второго, видно, высыпавшись из дырки, лежала куча риса. Старушка-дочь

взгромоздила арбуз на верхнюю полку, рядом с кусками хозяйственного мыла, прикрыла дверцы, придвинула стул, стоящий посреди комнаты, к столу, сказала:

– Садитесь, пожалуйста, – и ушла на кухню.

Молодой человек опасливо посмотрел на стул, уселся, перзал, взял со стола папку и упер ее ребром в колени. Вошла старушка в белом платье с блюдечком слив.

– Вы гражданка Конькова, Клавдия Петровна? – спросил молодой человек, расстегнув молнию на папке и начал выкладывать на край стола бумаги. Сверху он положил несколько исписанных листков, а под низ целую пачку чистой бумаги.

– Присаживайтесь, – сказал молодой человек. – Я хотел задать вам ряд вопросов.

– Ешь сливы, – сказала старушка и поставила перед ним блюдечко.

Молодой человек вдруг страшно покраснел, засмутился, несколько секунд он сидел, как бы соображая, а потом осторожно взял крайнюю сливу, самую маленькую и даже на вид гнилую, съел ее, а косточку выплюнул в кулак.

– Спасибо, – сказал он.

Вошла старушка-дочь, уже без дождевика и с вымытыми руками, вытерла тряпкой лужу на столе, положила тряпку на балкон сохнуть и уселась напротив.

– Ваше как имя-отчество? – спросил молодой человек.

– Мария Даниловна, – сказала старушка-дочь.

– Значит, вы сестра Василия Даниловича Конькова?

– Да, сестра.

– Правильно, – сказал молодой человек, заглядывая в бумаги, – о вас тоже упоминается, – он откашлялся.

– Значит, так... Согласно постановлению Совета министров, имущество реабилитированных, незаконно конфискованное в период культа личности, подлежит возврату, либо, в случае ненахождения его, – денежной компенсации.

Видно, ему было жарко в тугом галстуке, на висках и переносице дрожали капельки пота. Он вынул платок, вытер пот, потом в угол платка завернул сливовую косточку и спрятал в карман.

Старушки молча сидели перед ним: Марья Даниловна с вниманием на лице, а Клавдия Петровна с улыбкой.

– Поскольку реестр конфискованного у полковника Конькова имущества не сохранился, сын его, который был тогда несовершеннолетним и, естественно, не мог ничего помнить, указал вас в числе свидетелей... Возможно, удастся восстановить кое-что по памяти... Это поможет розыскам... Либо денежной компенсации...

– Конечно, – сказала Марья Даниловна, – я помню всю их мебель, они жили в трех комнатах. В первой комнате был кабинет Васи... Там стоял письменный стол, диван, кресло кожаное и несколько книжных шкафов... Кажется, три.

– Не торопитесь, – сказал молодой человек и начал что-то быстро писать.

– Ты о чем, Маша? – спросила Клавдия Петровна.

– Товарищ интересуется мебелью Васи... Вообще его вещами.

– Васи? – она наморщила лоб, – да, да... Вдруг он дает телеграмму – встречай. Я всю ночь глаз не закрыла. Жена у него артистка. А у нас клопы.

– Мама, – сердито сказала Марья Даниловна, – не рассказывай товарищу глупости.

Клавдия Петровна улыбнулась.

– Потом вы все приехали... Мужиков двадцать... В орденах...

Я вам всем на полу постелила... Ничего... По-солдатски, – она засмеялась.

– Мама, – сказала Марья Даниловна, – товарищ не мог приехать тогда с Васей. Ты нарочно путаешь, чтоб меня позлить...

У нее склероз, не обращайтесь внимания, – обернулась она к молодому человеку.

– Значит, шкафов книжных три, – тихо переспросил молодой человек, низко склонившись над бумагами.

– Три, – повторила Марья Даниловна.

– Телефон, – сказала вдруг Клавдия Петровна отчетливо и ясно.

Молодой человек быстро поднял голову. Клавдия Петровна серьезно и спокойно смотрела на него.

– В передней лежала шкура медведя, – добавила она.

– Верно, – удивленно подтвердила Марья Даниловна. – У них был телефон... И шкура медведя... Действительно, и я припоминаю.

– Все будет компенсировано, – сказал молодой человек. – Вы можете тоже требовать компенсации... Как мать...

– Мы в деньгах не нуждаемся, – сказала Марья Даниловна. – Володя, другое дело, он молодой.

– Володичка прислал карточку, – улыбаясь, сказала Клавдия Петровна, – жена у него артистка... Ребеночек есть...

Марья Даниловна махнула рукой, подошла к полубуфету, наложила в блюдечко варенье – вишня была матовая, засахаренная. Она поставила это блюдечко перед матерью. Та улыбнулась, взяла сливу, выдавила из нее косточку, обмакнула мякоть в варенье и проглотила.

– Извините, – сказала Марья Даниловна молодому человеку. – Пойдемте дальше. В спальне у них висел ковер. Точно я не помню размер.

– Ничего, – сказал молодой человек. – Это пока предварительно. Вы вспомните, и мы еще с вами встретимся.

– А имущество жены тоже вспоминать? – спросила Марья Даниловна.

– Все вспоминайте, – сказал молодой человек, – все вам вернут.

Клавдия Петровна наклонила блюдечко, и варенье закапало, потекло на стол.

– Господи, – крикнула Марья Даниловна, – неужели ты без глаз! Господи, Господи... Извините, – снова сказала она молодому человеку, встала и пошла на кухню.

– Это я нарочно, – шепотом сказала Клавдия Петровна, – чтоб она вышла... Вытащи мне коробку за твоей спиной... Под кроватью.

Молодой человек опять густо покраснел, оглянулся на дверь, опустил на колени и начал шарить под кроватью.

Старушка подошла и, кряхтя, хихикая, уселась рядом на стул. Молодой человек долго шарил, натываясь то на угол чемодана, то на какую-то обувь, потом пальцы его ударили по тазу, раздался звон.

– Тише, – шепотом сказала Клавдия Петровна, – Машка услышит... Она сейчас ищет тряпку на кухне, а сама недавно положила эту тряпку на балкон сушиться, – старушка хихикнула.

– Ты дальше руку суй, не бойся, не укусит никто.

Наконец, молодой человек нащупал картонную коробку и вытащил ее. Коробка была довольно большая, из плотного двойного картона. Очевидно, в нее что-то упаковывали раньше, сохранились даже наклейки, впрочем, совершенно неясные, вылинявшие.

– Спасибо тебе, – сказала старушка и ласково провела пальцами по крышке, пять тонких ломаных бороздок осталось на густом слое пыли, – я уж ее месяцев пять не видала, – говорила старушка, нежно поглаживая коробку, прикасаясь к углам, подергивая крышку, – прошу Машку, она не вытаскивает... Машка у меня всегда была упрямая... Вася – тот добрый... И Павлик... А эта упрямая.

Старушка осторожно открыла коробку, верх растворялся в обе стороны, как створки, заглянула внутрь и улыбнулась. Коробка была туго набита какими-то вещами, вперемешку. Здесь были куски материи, растрепанные книжки, ежик для чистки стекла керосиновой лампы, новый, не бывший в употреблении, бусы, несколько разных ожерелий.

Старушка сунула пальцы в угол коробки и вытащила кошелек, кожаный, засаленный. Она щелкнула замком. Кошелек был плотно набит красными тридцатками, упраздненными еще в реформу сорок седьмого года. Старушка закрыла кошелек, заткнула его назад в угол, сунула пальцы в другой конец коробки, вытащила коробочку из-под мармелада.

– Внучек, – спросила она, – хочешь мармеладу?

– Нет, – сказал молодой человек, – спасибо.

Старушка открыла коробочку.

– Выкинула Машка мармелад, – сказала она грустно. – Года три назад... А может, и раньше... Теперь я припоминаю. Ничего, смотри, что здесь.

На дне коробочки лежал какой-то завернутый в слюду предмет.

– Смотри, – сказала старушка и развернула слюду.

Это была пожелтевшая, наклеенная на картон фотография девушки в длинном платье и перчатках по локоть. Девушка была очень тоненькая, нежная, с удивленным, даже немного испуганным лицом.

– Кто это? – спросил молодой человек.

Старушка хитро подмигнула, взяла бусы, сначала крупные кирпично-красные, потом мелкие бисерные и, наконец, остановилась на белых матовых, надела их себе на шею. Затем все так же хитро улыбаясь, подмигивая, она достала из коробки синюю атласную ленту, вытащила заколки из завязанного на затылке узелка и повязала седые волосы этой атласной лентой.

Молодой человек осторожно уселся на стул, отряхнул пыль с колен. Старушка подошла и посмотрела на себя в зеркало.

– Я помереть боюсь, – сказала она вдруг. – Маша все время болтает, что хочет помереть, а я боюсь... Он когда помирал, я помню... Три раза вздохнул – два раза громко, тяжело, а третий спокойно, чуть слышно. Это уже из себя.

Молодой человек не знал, о ком говорит старушка, но не стал уточнять. Старушка крутилась перед зеркалом, поправила ленту, прикоснулась к кораллам. Потом вошла Марья Даниловна и сразу начала кричать.

– Ты меня в гроб вгонишь! – кричала Марья Даниловна.

– Маша, – спокойно спросила Клавдия Петровна, – куда ты дела Васин мармелад?.. Внучек хочет мармелад...

Лицо Марьи Даниловны покрылось красными пятнами.

– Ты! – крикнула она, задохнулась, перевела дыханье, – ты знаешь, что это не твой внук... Ты притворяешься... Ты нарочно, ты нарочно... Ты здоровее меня... Признайся, знаешь, что не внук?..

– Знаю, – тихо сказала Клавдия Петровна, – а ты зачем кричишь на мать?.. Как не стыдно... Я тебя запрю дома без сапог...

Марья Даниловна провела ладонью по лицу, потрянула головой и сказала молодому человеку:

– Вы извините, иногда срываешься... Знаете, мне с ней приходится хуже, чем с ребенком... Я вас задержала?

– Ничего, – сказал молодой человек. – Я еще раз зайду...

Вы вот что... Я вам оставлю телефон. Если вам понадобится, – мы поможем... Я имею в виду в бытовом смысле.

– Нет, – сказала Марья Даниловна, – мы ни в чем не нуждаемся.

Молодой человек встал, сложил бумаги в папку, застегнул молнию.

– Я хочу гулять, – сказала вдруг Клавдия Петровна.

– Новая песенка, – сердито откликнулась Марья Даниловна. – Накинь платок и выйди, посиди на балконе.

– Я хочу гулять, – упрямо повторила Клавдия Петровна. – Я в поле хочу... Или на реку.

– Глупая, – сказала Марья Даниловна. – Ну куда ты пойдешь, ты еле по комнате ходишь.

– Меня внучек проводит, – сказала Клавдия Петровна, – мне, главное, с лестницы.

– Товарищ не станет с тобой возиться, – сердито сказала Марья Даниловна, – товарищ на ответственной работе, работник органов... Он пришел по поводу Васи.

– Ничего, – неожиданно сказал молодой человек. – Я возьму такси. Мне все равно по делу надо. Я бы мог подвезти.

– Вот видишь, – обрадованно подхватила Клавдия Петровна.

Марья Даниловна посмотрела на молодого человека, на мать.

– Ладно, – вздохнула она. – Раз уж так – ладно. Только оденься потеплее... Накинь платок. Я сейчас тоже оденусь, вы посидите...

Марья Даниловна открыла шкаф, порылась там, взяла какие-то вещи, вышла на кухню. Потом вернулась, вытащила из-под двуспальной кровати туфли с перепонками, на лосевой подошве, и черные лакированные босоножки на венском каблуке, усадила мать, сняла с нее вязаные тапочки. Ступни у Клавдии Петровны были маленькие, аккуратные и, как ни странно – розовые, по-детски свежие. Когда Марья Даниловна прикоснулась к ним, Клавдия Петровна хихикнула, дернула ногами.

– Ты чего? – сердито спросила Марья Даниловна.

– Щекотно, – сказала Клавдия Петровна.

Марья Даниловна принялась застегивать перепонку, но Клавдия Петровна все дергала ногами и мешала попасть пуговицами в петлю.

– Ты чего? – снова крикнула Марья Даниловна, – мне ведь трудно стоять согнувшись, бессовестная.

Она выпрямилась, сжала руками свою поясницу. Рот ее был полуоткрыт, а цветные мешки под глазами приобрели какой-то черноватый оттенок.

– Извини меня, Маша, – сказала тихо Клавдия Петровна.

Марья Даниловна застегнула перепонку и, захватив босоножки, вышла. Клавдия Петровна сидела притихшая, лицо ее поблекло, выглядело усталым, как у дочери, хоть она абсолютно не двигалась.

– Я опять боюсь, – сказала она, – я месяца три назад ночью помирала... Машка не знает... Никто не знает... Ты не говори никому. Давай пока пойдем... Пока Машка одевается. Она догонит, она быстро ходит...

Клавдия Петровна поднялась со стула неожиданно легко и подала молодому человеку руку. Ладонь у нее была легкая и холодная. Они вышли в переднюю.

– Марья Даниловна, мы пока потихоньку с лестницы! – крикнул молодой человек, щелкнул замком и вывел Клавдию Петровну на лестничную площадку. Здесь было полутемно, солнце едва проникало сквозь пыльные окна.

– Отжила жизнь, – сказала Клавдия Петровна.

Молодой человек взял ее осторожно за локти и поставил на нижнюю ступеньку. Так постепенно они добрались до промежуточной лестничной площадки.

– Я здесь была, – сказала Клавдия Петровна, – в апреле меня сюда Маня выводила.

– Ты все-таки с лентами своими, – появляясь на верхней площадке, крикнула Марья Даниловна. На ней было черное суконное платье, застегнутое до горла, а на голове белая панамка.

– Я не пойду с твоими лентами, с твоими бусами... И платок не накинула... Господи, ты ведь все отлично понимаешь.

– Молчи, – неожиданно разозлившись, крикнула Клавдия Петровна. – Тебя не спрашивают... Ты мне никто... Ты мне не дочь.

Внизу и сверху открылись двери, выглянули любопытные. Клавдия Петровна ухватилась за перила, шагнула сама и едва не упала – молодой человек с трудом ее подхватил. Марья Даниловна торопливо спустилась, взяла мать под другую руку. Клавдия Петровна бормотала что-то сердито, дергала головой, но едва они вышли на солнечную улицу, остановились среди шелестящих в палисаднике деревьев, как лицо Клавдии Петровны моментально прояснилось, она запрокинула голову и счастливо рассмеялась.

– Я сейчас, – сказал молодой человек и пошел к перекрестку, к стоянке такси.

Клавдия Петровна некоторое время оглядывалась, затем увидела газетный щит, подошла, уперла палец в газету и, двигая им вдоль газетных строчек, зашевелила губами. Солнце било прямо в щит, и палец старушки отражался в газетной бумаге, правда, едва заметно, как в матовом металле. Подъехало такси. Клавдию Петровну усадили на заднее сиденье, она прижалась к окну и затихла.

– Вы извините, – сказала Марья Даниловна, – хлопоты с нами...

– Ничего, – сказал молодой человек. – Мне все равно по делу... Вам куда?

– К реке, – сказала Клавдия Петровна.

– Только подальше от центрального пляжа, – сказала Марья Даниловна.

Вначале Клавдия Петровна смотрела в окно, но потом от-вернулась.

– Скучно мне, – сказала она.

– Сейчас, – словно обрадовавшись, подхватила Марья Даниловна, – сейчас я вызову оркестр.

Шофер непрерывно оглядывался и хмыкал. Наконец, они остановились у какого-то крашеного в зеленый цвет павильона. За павильоном был кустарник, песчаные холмики и виднелся в промежутке между холмиками двуслойный плоский кусок: желтоватый и чуть дальше, вплотную серебристо-чешуйчатый.

– Ну, до свидания, – сказал молодой человек. – Так вы запишите все... Имущество, мебель. Вот телефон, – он протянул бумажку.

– Спасибо, – сказала Марья Даниловна.

В павильоне-кондитерской Марья Даниловна усадила мать за столик, купила ей размякшее от жары пирожное на картонной тарелке и сказала:

– Ты сиди. Я за лодкой пойду. Смотри, все на тебя оглядываются. С твоими лентами надо заплывать подальше от людей.

В павильоне пировала какая-то перепачканная краской бригада маляров. Они громко хохотали, и кто-то непрерывно повторял:

– Колбасу режь покрупней, Коля у нас зубастый.

Все они сидели босые, и Клавдия Петровна смотрела на их громадные ступни, глубоко погруженные в песок, вместо пола в павильоне был прибрежный желтый песок. Клавдии Петровне вдруг страшно захотелось тоже посидеть босой, и она начала искать, кого бы попросить расстегнуть ей перепонку на туфлях. Неподалеку возилась в песке девочка лет пяти в полосатом сарафанчике. Клавдия Петровна позвала:

– Детка, подойди ко мне.

Девочка подошла и, запрокинув голову, начала смотреть на Клавдию Петровну. У девочки были очень большие синие глаза, а губы перепачканы шоколадом.

– Детка, – сказала Клавдия Петровна, – расстегни мне пуговички на туфлях... Присядь, только аккуратненько, не помни сарафанчик.

Девочка присела, прикоснулась к пуговицам, но петли были очень тугие.

– Один пальчик подсунь под ремешок, а вторым нажимай на край пуговички, – говорила Клавдия Петровна.

Девочка пыхтела, наконец, ей удалось повернуть пуговицу и воткнуть ее в петлю, пуговица теперь торчала вдоль петли. Клавдия Петровна нажала носком другого туфля на задник, и пуговица отлетела.

– Молодец, – сказала Клавдия Петровна, – умница... Теперь этот... Ты, как Гришенька, хорошая... Возле меня живет мальчик Гришенька, он мне зимой снег в ведерке приносил...

С другим туфлем расправились уже быстрее. Клавдия Петровна сбросила туфли и погрузила ступни в горячий песок. От удовольствия лицо ее исказилось, рот приоткрылся, кожа на щеках натянулась, а на переносице сморщилась.

– Тебе ножки болят? – спросила девочка.

– Да, детка, – сказала Клавдия Петровна, – ох, какая ты умница... Кушай пирожное, – и дала ей липкое, растекающееся на картонной тарелке пирожное.

В это время появилась женщина в таком же, как у девочки, полосатом сарафане и с такими же голубыми глазами.

– Где ты взяла эту пакость? – крикнула она, вырвала у девочки пирожное и кинула его в песок. На песке пирожное имело действительно отвратительный вид, оно сразу покрылось песчинками, точно сыпью, из лопнувшего теста вывалился белый крем, и по нему зашныряли муравьи.

Девочка заплакала, а женщина приподняла ей сзади сарафанчик и сильно хлопнула по розовым трусикам. Девочка вырвалась и побежала, плача, куда-то за павильон.

– Грызло собачье, – сказала вдруг Клавдия Петровна и посмотрела на женщину. Она сказала это грубым голосом, просто по-мужски, даже босые маляры заинтересовались.

– Я милиционера позову, – взвизгнула женщина, – вы не смее... Старая ворона... Вернее, ведьма... Яга, яга...

Быстро подошла Марья Даниловна.

– Что случилось? – испуганно спросила она.

– Эта старушка с вами? – крикнула женщина. – Ваша знакомая, да? Я ее научу...

– Грызло собачье, – вновь повторила Клавдия Петровна, глядя прямо на женщину.

– Мама, – сказала Марья Даниловна. – Разве можно оскорблять людей... Вы извините, у нее склероз...

– Ты, Машка, молчи, – крикнула Клавдия Петровна, – тебя не спрашивают... Ты мне не дочь...

Женщина глянула на одну старушку, потом на другую и вдруг расхохоталась. Она смеялась, придерживая рукой грудь, а потом, так же хохоча, убежала за павильон.

– Я ее знаю, – сказала Клавдия Петровна, – это Надьки-американочки дочь... Они при Николае дом содержали с публичными девками.

– Какие глупости, – сказала Марья Даниловна. – Зачем ты выдумываешь?

– Ты еще сопливая, – сказала Клавдия Петровна. – Ничего ты не знаешь. Здесь реки не было, узенький ручей был. Огороды кругом. А там подальше купальня стояла.

Из-за павильона показались женщина и девочка. Женщина вела девочку за руку, и они не смотрели на старушек, но говорили между собой громко, чтоб старушки слышали.

– Бабка тебя заставляла ей туфли раздеть, – говорила женщина, – глупая бабка... Покажи бабке попку...

Женщина приподняла сарафан сзади, а девочка наклонилась, выставила зад в розовых трусиках. Потом девочка повернула голову, скорчила гримасу и высунула язык.

– Пойдем, – тихо сказала Марья Даниловна. – И зачем ты раздела туфли... Я только сейчас заметила, что ты босиком. –

Марья Даниловна опустила на колени, надела туфли, поднялась и некоторое время сидела, тяжело дыша.

– Зачем ты пуговицы оборвала? – спросила она, но тоже тихо, без крика, скорей даже ласково, – туфли ведь слетать будут...

Они вышли из павильона и пошли вдоль берега обе усталые, сгорбленные. Но едва они отошли шагов на двадцать-тридцать, как Клавдия Петровна рассмеялась, а потом даже повеселела. Они подошли к серому из шлака забору и вышли за ворота. Здесь уже начиналось поле, все в рытвинах.

Слева были огороды, впереди лодочный помост и дощатая будка какой-то небольшой лодочной станции. Марья Даниловна вошла в будку, а Клавдия Петровна уселась рядом на скамейку. Вдали виднелся противоположный берег, и там, вдоль частокола крошечных телеграфных столбиков, изредка поднимались желтоватые облака пыли, минуты через две к городскому берегу подкатывались волны, и лодки, причаленные к помосту, гремели цепями и стучались друг о друга.

На помосте, у самого края, сидели две девушки, свесив ноги в воду. Клавдия Петровна поправила атласную ленту, посмотрела на девушек и улыбнулась. Подошел лодочник с веслами, босой, в закатанных по колени брюках и солдатской гимнастерке навыпуск, без пояса. Рядом с ним шла Марья Даниловна и сердито трясла головой.

– Не положено, – говорил лодочник.

– Я буду жаловаться, – говорила Марья Даниловна. – Вы принадлежите коммунхозу, ведь верно?

– Не положено, – повторил лодочник, – такса тридцать копеек в час. И все. Гребцами мы не обеспечиваем.

Марья Даниловна махнула рукой, повернулась и подошла к скамейке.

– Видишь, мама, – раздраженно сказала она. – Я ведь говорила... Ты меня уже сегодня замучила... Зачем тебе лодка... Всегда у тебя фантазия...

Клавдия Петровна молча улыбалась.

– Невеста, – сказал лодочник и хохотнул.

Темноволосая девушка встала с помоста, подошла к лодочнику.

– Я могу погрести, – сказала она.

– С ума сошла, – подбегая, шепнула ей подружка-блондинка, – она ненормальная, разве не видно... И на танцы опоздаем.

– Не опоздаем, – сказала темноволосая девушка. – Я погребу.

Лодочник снова хохотнул и принялся отвязывать лодку.

– Я вам очень благодарна, – засуетилась Марья Даниловна. – Мама, – крикнула она, – идем, девочка нашлась. Девочка погробет...

Она взяла Клавдию Петровну об руку и осторожно повела ее к воде.

– Минутку, – сказал лодочник. – Я сейчас ее посажу.

– Только не сделайте ей больно, – испуганно сказала Марья Даниловна.

– Порядок будет, – сказал лодочник, осторожно взял старушку одной рукой под колени, другой за спину и посадил в лодку на корму.

Марью Даниловну он тоже посадил, ухватив под локти. При этом Марья Даниловна дернулась, едва не свалилась в воду, взмахнула сумочкой и взвизгнула.

– Ладно, – сказала блондинка. – Я с вами... Тебя, Алка, нельзя одну отпускать. Ты тоже ненормальная.

Темноволосая девушка начала грести. Гребла она хорошо, лодка шла ровно, без толчков. От жары вода позеленела, попахивала гнилью, а ветер сильно отдавал дымом. Но Клавдия Петровна старалась дышать поглубже.

– Воздух какой, – сказала она.

– Ты простудишься, – сердито сказала Марья Даниловна, – не дыши ртом.

– Хорошо жить, – улыбнулась Клавдия Петровна. – Эх, была бы я молодая, как Маша... Ты все время недовольна, Маша...

Посмотри, небо какое. Поехать бы на тот берег, лечь на траву... Я уже лет пятнадцать не была на том берегу...

Она опустила ладонь в воду. В воде ладонь полнела, а когда она вытаскивала ее, ладонь сразу как бы усыхала, становилась похожей на лапку.

– Ты схватишь воспаление легких, – сказала Марья Даниловна.

Клавдия Петровна вдруг озорно улыбнулась и ляпнула в Марью Даниловну водой.

– Прекрати, – отряхивая брызги, крикнула Марья Даниловна, – прекрати, девушек стыдно...

Но Клавдия Петровна не ответила, она сидела уже совсем другая, чем мгновенье назад, тихая, кроткая, покачиваясь, смотрела на воду и бормотала или пела что-то неразборчивое. Она сняла атласную ленту и, держа ее за конец, пустила вдоль ветра. Серые жидкие космы рассыпались по плечам, и сквозь них проглядывали залысины.

– Сколько ей? – спросила блондинка.

– Восемьдесят семь, – ответила Марья Даниловна, – совсем в детство впала.

Темноволосая девушка посмотрела на старушку в белом платье, а старушка посмотрела на девушку, они понимающе улыбнулись друг другу. Потом старушка посмотрела на блондинку, и та почему-то испуганно отвернулась. Мимо проплыла большая лодка с парнями. Белочубый красавец стоял на корме и смотрел в бинокль.

– Богадельня на отдыхе, – крикнул белочубый.

– Дурак, – сказала темноволосая девушка. – Вы не обращайтесь внимания, я этих дураков знаю, это моего брата приятели.

Слева была болотистая заводь, росли камыши, справа река поворачивала, виднелся пешеходный мост, а за ним слышен был шум плотины. Лодка ткнулась в пологое глинистое дно метра за два от берега. Блондинка босиком вошла в воду и потащила лодку волоком, уперла ее носом в поросший травой бугор. Девушки сделали «стульчик» – взяли наперехват друг друга за руки, но Клавдия Петровна не хотела сесть, чтобы ее перенесли, она сбросила туфли и тоже босиком хотела войти в воду.

– Не пускайте ее, девушки, – кричала Марья Даниловна. – Мама, это в последний раз. Дальше балкона ты у меня никуда.

Девушки стали с обеих концов лодки, раскинув руки, темноволосая молча, а блондинку душил смех, она каждый раз всплескивала и повторяла:

– Ой, я молчу.

Марья Даниловна стояла на корме, тоже раскинув руки, на правой руке ее висела клеенчатая сумочка.

Клавдия Петровна сердито металась внутри лодки, путаясь в подоле белого платья, неумело перелезая через лодочные скамейки. Атласную ленту она уронила, и та мокла в лужице илистой воды на дне лодки.

– Ты мне не дочь, – кричала она Марье Даниловне. – Убирайся!

По прибрежному лугу ходили коровы, выскочила откуда-то собачонка и залаяла на лодку, на людей. Клавдия Петровна посмотрела на собачонку и вдруг затихла, уселась на скамейку.

– Зельма, – сказала Клавдия Петровна и добавила, обернувшись к темноволосой. – Она в комнате никогда не гадит.

Девушки взяли Клавдию Петровну, посадили на скрещенные руки и понесли к берегу. Потом они помогли перебраться Марье Даниловне.

Берег порос густой сочной травой, виднелась рощица, было очень тихо, собачонка куда-то исчезла, лишь слышен был сзади плеск воды, да под самым горизонтом изредка возникал гулкий металлический звук, там были карьеры белой глины.

Клавдия Петровна пошла вначале осторожно, потом все быстрее и быстрее, затем остановилась и легла, прикоснулась лицом к траве.

– Мама, встань! – крикнула Марья Даниловна. – Ты простудишься, земля сырая.

Клавдия Петровна не ответила. Она лежала, глядя в небо, улыбалась и осторожно перебирала бусы у себя на шее. Вновь появилась лодка с парнями. Лодка плыла вдоль берега, и бе-

лочубый что-то кричал, сложив ладони рупором. Очевидно, он острил. После каждого выкрика следовал взрыв хохота.

– Болваны, – сказала темноволосая девушка.

А блондинка незаметно вынула помаду и тронула губы, провела мизинцем у краев рта. Крики привлекли внимание Клавдии Петровны. Она села, посмотрела на реку, но лодка уже скрылась за поворотом. Тогда она посмотрела на блондинку.

– Покажите, – неожиданно сказала Клавдия Петровна, – это губы красить, да?

Блондинка поспешно зажала помаду в кулаке. Темноволосая девушка вынула из карманчика свою помаду и протянула Клавдии Петровне. Клавдия Петровна начала подниматься, вначале она стала на четвереньки, темноволосая девушка поспешно подошла, подхватила ее за плечи и выпрямила. Клавдия Петровна взяла помаду, повертела, понюхала.

– Пахнет хорошо, – сказала она.

– Мама, – сказала Марья Даниловна, – перестань, девушка, может, неприятно.

– Ничего, – тихо сказала темноволосая девушка. – Ничего, возьмите, если вам нравится.

Клавдия Петровна снова улыбнулась.

– Как я танцевала, – сказала она. – Ох, как я танцевала, девушки.

– Мама, – сказала Марья Даниловна, – прекрати, пожалуйста. Не надо смешить людей.

Клавдия Петровна мечтательно улыбнулась, сделала несколько шагов к воде и прикоснулась фиолетовым тюбиком к своим желтым костяным губам.

– Мама! – крикнула Марья Даниловна. – Мама, перестань, – и лягнула Клавдию Петровну по руке.

Она хотела лишь выбить помаду, но концы пальцев ее скользнули по скуле Клавдии Петровны, а ребро ладони зацепило мать по подбородку так, что та дернула головой, пошатнулась и едва не упала.

Марья Даниловна была крупнее и тяжелее матери, и руки у нее были крупные, оплетенные жилами. Помада мазнула

Клавдию Петровну вдоль щеки, покатила по траве и упала в воду. Жирный фиолетовый зигзаг потянулся от края рта к подбородку, и на нем набухали две красные капельки, видно, металлический футляр помады разорвал кожу.

Клавдия Петровна стояла над самым берегом, тень ее переламывалась надвое: часть на траве, а часть среди пузырьков, поднимающихся с илистого дна.

– Ничего, – тихо сказала Клавдия Петровна и посмотрела на девушек, – это просто так... Маша всегда была хорошая девочка... Веселая... Как она танцевала у Павлика на свадьбе... Зина злилась, ревновала Павлика к родной сестре, – старушка засмеялась хитро и озорно, – такая глупая... Я всегда говорила Павлику, что она глупая... А Вася удачно женился. У него жена была докторша... Умная... Я ее любила... – старушка вдруг замолкла, осмотрелась вокруг, вздохнула и сказала просто и ясно:

– Девочки, не дай вам Бог пережить своих детей.

Марья Даниловна стояла в нескольких шагах от Клавдии Петровны, после удара она внимательно и даже удивленно посмотрела на мать, потом отошла назад, раскрыла сумочку, принялась рыться в ней. В открытую сумочку закапали слезы, линялая шелковая подкладка покрылась пятнами. Марья Даниловна закрыла сумочку и заплакала громко, вытирая глаза пальцами. Клавдия Петровна подошла к дочери, прикоснулась к ее плечу, и та покорно опустила рядом с матерью на траву.

– Тише, детка, – говорила Клавдия Петровна, – тише, маленькая...

Марья Даниловна лежала в нелепой позе, раскинув ноги в босоножках, под горячим от солнца суконным платьем дряблый жирный живот ее чесался, а лопатки упирались в острые колени сидящей над ней Клавдии Петровны.

– Налетели гуси, – бормотала Клавдия Петровна, покачиваясь, – Машеньку любили, Машеньку кормили...

У Марьи Даниловны из-за неестественного изгиба разболелся позвоночник, но она не переменила позы, лежа вынула

из сумочки кружевной платок и начала осторожно вытирать жирный фиолетовый след со щеки матери, набухшие капельки крови подсохли, она осторожно очищала кожу вокруг них от помады.

– Налетели гуси, – путая мотив и слова, бормотала Клавдия Петровна, иногда она обнимала голову дочери сухими лапками и прикасалась ко лбу ее губами.

Девушки сидели на борту лодки, опустив босые ноги в воду, и молча смотрели, как старушка в белом платье покачивается, баюкает на коленях седую голову своей дочери.

Владимир Николаев*

Правдинский монастырь

Что является главной бедой современной России?

То, что мы и сегодня продолжаем жить теми же представлениями о нашей истории, которые большевики вывернули шиворот-навыворот и оставили нам как свое проклятье.

За семьдесят лет они сумели так ее фальсифицировать, так извратили общественные науки, что лишили народ исторической памяти. До сих пор подавляющая часть россиян не знает правды о своем прошлом, особенно о советском периоде.

С сорок седьмого года я близко – по службе и по дружбе знаю редакцию газеты «Правда». Несколько лет, при Хрущеве, в ней работал, не раз печатался. Рукопись, переданная в журнал «Грани» – о закулисной повседневной жизни газетного коллектива. Ее можно отнести к жанру сатирической хроники.

Кстати, монастырем редакцию называли сами правдисты, одни с гордостью, другие – с иронией.

Владимир Николаев

Прощай, молодость!..

В шестидесятом году я работал заместителем главного редактора журнала «Смена». По внешнему виду он был похож на еженедельник «Огонек», а по содержанию «Смена» отличалась преобладанием молодежной тематики.

* См. «Грани» №№ 225–232. – Ред.

Весной того же года я съездил в командировку в город Темиртау. Тогда этот край называли Казахстанской Магниткой, там создавался огромный металлургический комбинат. Написал о нем очерк, он был опубликован в «Смене» с моими фотографиями – я часто сопровождал ими свои журнальные выступления. После этого меня пригласили в редакцию газеты «Правда» и предложили, во-первых, написать им большой очерк о Темиртау и, во-вторых, перейти к ним на постоянную работу.

Пришлось надолго задуматься. В «Смене» жилось и работалось неплохо. Все были молоды и жизнерадостны. Удавалось делать вполне приличный журнал – в то время очень популярный, поскольку хрущевская оттепель еще не испарилась до конца. Но, с другой стороны, приближалось мое тридцатипятилетие, мне думалось, что для молодежной печати это уже предельный возраст. Но и «Правда» для меня не выглядела таким привлекательным местом, куда можно было бы поспешить на работу.

Я давно и неплохо знал эту редакцию. В те годы «Правда» считалась лидером и вершиной нашей журналистики, была самым богатым и влиятельным периодическим изданием. Еще бы! Орган ЦК партии – подлинной и единственной власти в стране! В коллективе редакции числилось немало хороших публицистов, а выступать на ее страницах считали за честь самые лучшие перья, включая ведущих писателей.

Но газету сушили и давили публиковавшиеся в ней официальные, обязательные материалы, партийные и государственные, тогда никому в голову не приходило создать для этого специальное приложение или же просто отдельное издание. Серая официальная печать лежала на всем облике «Правды», это был как бы ее фирменный знак. Почти все материалы носили директивный характер, душевные человеческие интонации были чужды стилю газеты.

Случилось так, что я близко познакомился с газетой и ее сотрудниками вскоре после войны и демобилизации, когда только-только начинал свою журналистскую карьеру в каче-

стве репортера. Моя жена училась в Московском университете в одной группе с Женей Рябовой, которая на многие годы стала закадычным другом нашей семьи и даже вышла замуж за моего лучшего друга. А ее отец, Иван Афанасьевич Рябов, был в те годы одним из самых ярких и известных публицистов «Правды», выступал чаще всего с фельетонами, причем тематика их была не мелкой бытовой, а житейски-философской – ему это в газете разрешалось!

В редакции его ценили. Для себя, для души он много лет занимался русской дореволюционной публицистикой, опубликовал о ней несколько серьезных работ. Как и многие склонные к сатире писатели, он производил впечатление человека мрачного и нелюдимого, но на самом деле был застенчив и мил, даже чуточку чудаковат.

К сожалению, много пил. Застолье и свело нас, мы подружились. Я вошел в круг нескольких его близких друзей-правдивистов и смог многое узнать о самой редакции газеты, ее повседневной жизни.

Так что я имел представление о работе в «Правде» и никогда о такой возможности для себя не помышлял. Очерк я для газеты написал, его опубликовали, немного сократили и заменили заголовок: вместо «Железо и солнце» – в нем я обыгрывал стихи местного поэта, очерк появился под заголовком «Гигант в степи». А стихи в тексте оставили:

*Арматуры шершавые нитки
Гнули мы на суровом ветру,
Чтоб железо в громаду Магнитки
Вместе с солнцем вплести поутру.*

Вот тут бы мне и призадуматься! Это клише «Гигант в степи» было послано мне как бы с неба предостерегающим знаком, лишним напоминанием о том, что собой представляет газета «Правда». Но меня по-прежнему смущал мой возраст в молодежном журнале, к тому же меня в «Правде» очень уж искушали и соблазняли.

Сам главный редактор газеты, влиятельнейший при Хрущеве человек, долго беседовал со мной, рассказывал о том, как он собирается оживить газету при новых хрущевских веяниях.

Тогда в нашей жизни, в том числе и в журналистике, появились западные дуновения, и Сатюков на словах был к ним весьма чуток, поскольку всегда сопровождал Хрущева в его многочисленных зарубежных поездках. Вот и взбрело ему в голову, согласно новому духу времени, возмечтать о перестройке своей газеты на западный лад. Он предложил мне стать чем-то вроде «редактора новостей» – очень заметного лица в западных газетах, правой рукой – официально заместителем редактора «Правды» по отделу информации.

Я сказал ему, что по опыту своей работы больше склонен к международной тематике, а не внутренней. Он ответил: потому мы и хотим, чтобы вы занялись новостями, нужен современный вкус и знание зарубежной прессы.

В конце концов, я согласился и проработал потом в газете три с половиной года.

Уговаривая меня принять его предложение, Сатюков обещал предоставлять под новости и публицистику целую последнюю полосу газеты и, разумеется, по возможности печатать их на других полосах. Он рисовал весьма радужные перспективы оживления газеты, приближения ее к человеку и повседневной жизни.

Говорил об этом вполне пристойно, разумно, даже увлекаясь. Для меня это было неожиданностью: размечтавшийся идеологический бюрократ! Партийный Манилов. Кстати, сам он ничего не писал, но в газетах проработал много лет. Мысли он высказывал трезвые, их можно было бы осуществить в газете, если бы... Если бы начать реформировать не только «Правду», но и окружающую ее действительность.

Постепенно, за три с лишним года моего тесного общения с главным, я убедился, что он просто любил и умел порассуждать, но все равно душа его была уже изъедена партийной демагогией, как старая шаль молью.

Запомнился мне и наш последний разговор под крышей «Правды». Он состоялся ночью, после подписания в свет очередного номера газеты. Я зашел к нему попрощаться, поскольку переходил в «Огонек». Он был любезен, оценил мой переход как закономерный шаг в моей карьере и тут же опустил веки, прикрыв ими глаза, это означало, что он собирается не столько говорить, сколько вещать. Так оно и случилось.

Он долго говорил мне о том, как, с его точки зрения, надо переделать, улучшить «Огонек», избавить его от многих характерных недостатков. Все то, что он советовал, было разумно и справедливо, логично и убедительно. Но точно так же он не раз делился своими соображениями по поводу «Правды», а она тем не менее продолжала оставаться скучным официозом, справлялась только с тем, что доносила до своих читателей мнение ЦК партии о том, как всем надлежит сегодня жить и работать, решительно всем – от писателей и художников до рабочих и крестьян.

О правде в «Правде»

Вся история «Правды» за восемь десятилетий существования газеты в качестве главного большевистского рупора свидетельствует о том, что обман, фальсификация, демагогия, клевета всегда были в ее пропагандистском арсенале.

Но, как это ни парадоксально, именно на страницах газеты можно найти немало самой настоящей правды о том времени. Чтобы убедиться в этом, не требуется особых усилий. Достаточно просто полистать ее страницы.

Возьмем, например, номер газеты от пятнадцатого марта сорок шестого года. Это был самый обычный день. Никаких праздников или юбилеев, никаких громких или торжественных событий. Состоит этот номер всего из четырех газетных полос. Последнюю, четвертую, занимают информационные заметки, а на первых трех публикуются разные материалы, большие и маленькие, вот только их заголовки: «Быть до-

стойным своего вождя», «Великий вождь ведет нас к новым победам», «Как Сталин сказал, так и будет», «Сталинские предначертания будут претворены в жизнь», «Выполним любое задание товарища Сталина», «Сталинская программа будет выполнена», «Под водительством Сталина вперед, к новым победам», «Сталинский план нового подъема нашей Родины» и тому прочее. Всего на трех газетных полосах имя Сталина упоминается около трехсот раз!

Что это?! Идиотизм? Массовый психоз? Так жили под Сталиным советские люди изо дня в день. Так газета свидетельствует о том, что представлял собой на самом деле культ личности, который, в конце концов, привел нашу страну на край гибели.

Уже фактом своего появления на свет в двенадцатом году газета сама, конечно, того не желая, убедительно обрисовала существовавшие тогда порядки в стране. По официальной советской истории, это было время тяжелой реакции. И вот в этот год в апреле петербургский градоначальник выдал разрешение на издание в Санкт-Петербурге большевистской газеты «Правда». Ее первый номер был отпечатан тиражом в сто тысяч экземпляров, которые бесплатно (!) раздавались солдатам и рабочим. Печаталась газета крупным полиграфическим предприятием, где трудилось более трехсот человек.

Весь этот первый номер «Правды» заполнили материалы, направленные резко против царского режима, среди авторов были и члены Третьей Государственной думы от большевиков. Газета прямо призывала к борьбе против существующей власти. Руководившей «Правдой» из-за границы Ленин писал своим коллегам в Петербург: «Надо *добиться* легальности, цензурности. Можно и должно ее добиться (*вот как он полагался на царский режим!* – В. Н.). Иначе вы зря губите дело, за которое взялись. Обдумайте это серьезно... Можно и должно многое еще сделать в смысле увеличения легальности... Легальность. Легальность непременно!»

«Правда» не просто звала народ на борьбу, она прямо призывала к свержению власти и обещала золотые горы, молочные

реки и кисельные берега всем, кто пойдет за большевиками. И главной приманкой, решившей успех Октябрьского переворота, было обещание дать землю крестьянам.

«Победивший пролетариат, – писал Ленин в газете, – даст крестьянству немедленно земли без выкупа. И гигантское большинство крестьянства... поддержит победивший пролетариат всецело, всемерно, беззаветно».

Поучительно читать эти строки в наше время. Они обнажают все коварство большевиков, которые затем насильно согнали крестьян в колхозы, уничтожив при этом несколько миллионов сельских тружеников и создав нечто вроде феодальной системы в XX веке.

В «Правде» мы можем прочитать и статью Ленина, в которой он довольно неуклюже пытается оправдаться перед обвинениями в том, что большевики используют на подготовку революции уже не против царя, а против Временного правительства, огромные денежные средства, полученные от немцев. Что заставило Ленина пойти на такой шаг?

Дело в том, что в ходе быстрой демократизации российского общества в результате Февральской революции «Правде» было трудно врать без оглядки, как это стало возможным после Октября семнадцатого, пришлось Ленину попытаться оправдаться от обвинений, которые уже в то время были очевидными и которые советские историки замалчивали потом десятилетиями.

Сегодня это давно секретом не является. В наши дни, уже в XXI веке, газета «Московский комсомолец» к очередному дню рождения Ленина напечатала большую статью под заголовком: «Правда» выходила на марки кайзера», в ней, в частности, говорится:

«Самый большой вклад в кассу партии Ленина-Сталина внес германский кайзер, рейхсбанк во время мировой войны. Лидер большевиков решил проехать по Германии (*воюющей в то время с Россией!* – В. Н.) в оплаченном вагоне-микст, полужестком, полумягком, отведать поданный всем эмигрантам бесплатный ужин. За одно это всех пассажиров германского

«Троянского коня», засылаемого в тыл русских, следовало с вокзала препроводить в Петропавловскую крепость...

В те же дни французская разведка нашла следы более страшного преступления. Миллионы германских марок из Берлина через нейтральную Швецию по сложной цепочке через доверенных лиц Ленина переправлялись в Петроград, в кассу партии. Когда эта информация попала в газеты, Ильичу пришлось срочно побриться и уйти в подполье.

Германский посол в Швеции, организовавший переезд эмигрантов-ленинцев, в июле семнадцатого уведомлял из Берлина: «Мирная пропаганда Ленина становится все сильнее, и его газета «Правда» печатается уже в трехстах тысяч экземпляров». Издавалась она не на копейки рабочих читателей «Правды», как нас уверяли, а на миллионы кайзера. По данным немецких историков, «на пропаганду мира» в семнадцатом Германия перечислила в Россию двадцать пять миллионов марок. Этот «мир» обернулся революцией и гражданской войной...»

К этому очевидному выводу можно еще добавить, что революция обернулась обманом. Известный демократический деятель тех лет Суханов писал: «Кому же не ясно, что перед нами нет никакой «советской» власти, а есть диктатура почтенных граждан Ленина и Троцкого и что диктатура эта опирается на штыки обманутых ими солдат и вооруженных рабочих...»

Лишний раз о справедливости именно такого вывода свидетельствуют и страницы «Правды» за многие годы ее деятельности. Нужно только повнимательней читать их. Газета, повторяем, вполне сравнима с тем волшебным ключиком, которым можно открывать большевистские тайны, под таким углом зрения ее вполне можно рассматривать как своеобразный и бесценный источник исторической правды.

У меня же лично, кроме такого подхода к деятельности газеты, была еще возможность близко узнать ее редакцию и даже поработать в ней.

Кипучее невежество

Газета «Правда» хрущевских времен являла собой все же любопытную картину. Появилось в ней после страшных сталинских десятилетий что-то от, так называемой, оттепели, но все равно очеловечить ее оказалось невозможно. Раньше она служила одному Сталину, нагоняя на всех ужас. При Хрущеве она тоже служила только одному своему новому хозяину, но при этом не столько страшила, сколько отражала завихрения его неумной природы.

Все десять лет своего правления Хрущев был просто помешан на сельском хозяйстве, которое поклялся поставить на ноги. И чего только он ради этого с нашей бедной деревней не устраивал! И кукурузу на север продвигал, и казахстанскую целину распахал, и бесчисленные совещания по вопросам сельского хозяйства проводил, и сотни разных законов и постановлений принял... Всем этим занимался лично, без конца всюду произносил длиннейшие речи-поучения.

К исходу его десятилетней деятельности в «должности» нашего вождя было издано семь томов его речей и выступлений под общим заголовком: «Строительство социализма в СССР и развитие сельского хозяйства». Разумеется, все эти речи и выступления до книжного издания публиковались, обсуждались и прославлялись в «Правде», что, конечно же, ее не украшало.

А какое немислимое количество выступлений сделал он по другим проблемам: промышленности, вопросам управления партией и государством, международным делам, даже по литературе и искусству! Кстати, писать он просто не умел, был типичным среди коммунистических вожakov малограмотным партийным боссом. Из его мемуаров, которые он потом наговорил на пленку (будучи уже в отставке), следует, что грамоте ему пришлось учиться не более двух лет. Потому и предпочитал устное творчество письменному.

Главную роль в подъеме безнадежно загнившего колхозного строя – Россия, в прошлом самая могучая сельскохо-

заяственная держава, при советской власти закупала хлеб за границей – Хрущев отводил так называемым «маякам», то есть передовикам производства.

По приказу сверху мелкие партийные функционеры на местах делали из отдельных колхозников дутых передовых животноводов, механизаторов, свекловодов, хлопкоробов и тому прочее, создавая для них особые условия.

На таких «маяков» работали обычно целые трудовые коллективы, а баснословные результаты труда приписывали одному назначенному начальством герою, призывая всех равняться на него. Так в сельском хозяйстве повторили дурной опыт стахановского движения, организованного сверху еще при Сталине.

С разных трибун гремел на всю страну Хрущев о таких «маяках», лично их чествовал и баловал, окружал почетом, осыпал наградами. При этом азартно подсчитывал, как славно мы заживем, если все колхозники последуют примеру «маяков». «Правда», разумеется, должна была выступать запевалой в этом пропагандистском хоре под управлением вождя. Газета посвятила этой теме сотни своих полос, вот их типичные заголовки: «Кубанские маяки», «Славнее богатыри Украины», «Герои наших дней»...

И уже в то время, еще при Хрущеве, весь этот немислимый обман на каждом шагу разоблачался самой жизнью. Мало того, что полки продовольственных магазинов – кроме Москвы и Ленинграда, были пусты, бессовестная эта кампания оборачивалась трагическими скандалами, которые, понятное дело, замалчивались властями и лично Хрущевым. Самым громким таким скандалом стало дело Ларионова.

Суть его заключалась в следующем.

К «маякам» относили не только отдельных тружеников, но и целые передовые коллективы, районы и даже области. Решили, например, сделать образцом для других Рязанскую область. Ее партийным лидером еще с сорок восьмого года был первый секретарь обкома Ларионов. Похоже, он и сам был счастлив выслужиться во что бы то ни стало, и его об-

ласть взяла на себя совершенно непосильное обязательство: поднять производство продуктов животноводства в два-три раза за два-три года.

По какому же пути пошел Ларионов? Выход у него был только один – пойти на очковтирательство. Так, например, посланцы Рязани скупали сливочное масло в Москве, а сдавали его государству как продукцию своей области. Мгновенно рязанский партийный босс стал всенародным героем и любимцем Хрущева, который просто охрип, призывая всех брать пример с Рязани. В конце концов, афера эта лопнула, а Ларионов застрелился. Тем не менее, хоронили его с большим почетом, объявили, что умер от болезни.

И даже после такой трагедии вся эта чудовищная свистопляска вокруг «маяков» продолжалась. Отличавшийся буйным нравом и упрямством, Хрущев объявил, что мы за два-три года догоним и перегоним Америку по производству продуктов животноводства. У нас в народе не было конца анекдотам и сатирическим частушкам по этому поводу, вот, например:

*Мы Америку догнали по надою молока,
А по мясу не догнали, ч..ен сломался у быка.*

«Правда», надрываясь, кричала со своих страниц о небывалом расцвете села, о грядущем вот-вот изобилии продуктов, но все это напоминало шаманские заклинания: «Полнее использовать неисчерпаемые резервы колхозов и совхозов!», «Привести в действие резервы сельского хозяйства!», «Из года в год увеличивать производство сельскохозяйственных продуктов!», «Богаче должна стать белорусская земля!», «Северный Кавказ будет жемчужиной России»...

Да, да, это все лозунги из «Правды», если в них вчитаться повнимательней, то лишний раз можно убедиться, что и на ее страницах можно при желании вычитать действительную правду. Например, среди ее призывов был и такой: «Районы черноземной зоны будут богатейшей житницей Родины!» Как же это так?! До большевиков они всегда таковыми и были, а

тут, оказывается, еще только будут когда-то! На фоне всего этого безобразия Хрущев торжественно объявил, что долгожданный коммунизм в нашей стране наступит уже в восьмидесятые годы.

Примечательно, что с научной стороны борьба за подъем нашего сельского хозяйства опиралась на деятельность любимца Сталина Лысенко. Этот малограмотный, но официальный академик, шарлатан и палач, погубивший много выдающихся ученых и специалистов в своей области, а заодно и наше сельское хозяйство, безраздельно властвовал более трех десятилетий при Сталине и Хрущеве, при котором «Правда» целыми полосами печатала соображения и указания Лысенко по поводу сельского хозяйства.

Я всегда был далек от сельского хозяйства и, естественно, от этой тематики, когда работал в «Правде». Но однажды мне все же довелось самому, по собственной инициативе окунуться в сельскую жизнь.

Как известно, Хрущев объявил о наступлении на казахстанскую целину в пятьдесят четвертом году. Это был его крупнейший проект за все десять лет правления страной. Предстояло в голой степи распахать сотни тысяч гектаров многовековой целины. Для этого необходимо было переселить туда десятки тысяч специалистов, обеспечить их жильем и техникой. В лозунговом оформлении все это звучало заманчиво.

Как будто все, начиная с Хрущева, забыли о том, что у нас рядом, под руками, в центральной России, есть свои – не казахстанские сотни тысяч гектаров земли, которую можно было бы сделать сказочно цветущей, вложив в нее значительно меньше средств, чем в освоение целины. Но тогда неумный Хрущев поставил вопрос так, что только с освоением целины у нас начнется райская жизнь.

Весной пятьдесят четвертого года десятки тысяч добровольцев, в основном, молодежь, и тысячи специалистов, в основном, членов партии (большинство из них – по указанию партийных органов), устремились на казахстанскую целину.

Я тогда работал в журнале «Молодой коммунист» и в качестве его корреспондента отправился на целину с одним из первых комсомольских эшелонов.

...Добрались мы до Кокчетавы, областного центра на севере Казахстана, а если определить точнее, то прибыли мы на юг Западно-Сибирской равнины, прирезанной к республике Казахстан, когда в двадцатые годы Сталин искромсал политическую карту страны так, чтобы при советской национальной республике был весомый довесок с преимущественно русским населением (на всякий случай, как бы чего не вышло!). Вот и получился непомерно огромный Казахстан за счет исконно российской части Сибири.

Кстати, так же создавалась и Украинская республика, к территории которой искусственно прицепили восточную половину с преимущественно русским населением. Эта хитроумная предосторожность Сталина оказалась бомбой замедленного действия, которая взорвалась со страшной силой в девяносто первом году при развале Советского Союза...

В Кокчетаве я познакомился с Павлом Александровичем Песоцким, отдавшим двадцать пять лет жизни совхозному строительству. Он был директором крупного совхоза на Украине и теперь его направили поднимать целину. Он оказался опытнейшим специалистом, настоящим первоклассным профессионалом, каких у нас при советской власти всегда катастрофически не хватало, и к тому же просто прекрасным человеком. Ему предстояло создать в голой степи новый совхоз – Айртауский.

Мы с ним как-то быстро сошлись и подружились. Он предложил мне начать знакомство с целиной с момента основания его совхоза, что я и сделал.

Затем, уже после весны пятьдесят четвертого, я несколько раз приезжал в совхоз, который рос буквально у меня на глазах. Написал несколько очерков о нем, но не столько о создании буквально на пустом месте сложного современного хозяйства, а о людях нового совхоза, их взаимоотношениях и усилиях по созданию единого коллектива.

В совхозе было полторы тысячи человек – труженики и члены их семей, в основном – русские и украинцы, местных жителей, казахов, было всего пятнадцать человек – степь-то здесь всегда была исконно русской.

Новоселы спешно обустраивались – зимы там суровые! – и поднимали целину. Посеять успели немного – всего тысячу гектаров. А вот в следующем, пятьдесят пятом году, совхоз засеял шестнадцать тысяч гектаров.

В начале июня на огромной площади поднятой целины показались первые ростки – крохотные зеленые иголочки. И вскоре грянула... беда. Наступила такая засуха, какой в тех краях не знали уже полвека. И все, начиная с Хрущева, как будто только что узнали простую истину: урожай хлеба здесь возможен далеко не каждый год, как повезет с погодой... Вот в следующем году повезло, собрали богатый урожай, а затем, несколько лет подряд об урожае пятьдесят шестого года оставалось только вспоминать.

Итак, не совсем повезло с климатом. А раньше о нем разве было неизвестно? Постепенно прояснилась для всех другая беда целины (специалисты знали о ней и раньше, она не была секретом!): слой ее чернозема оказался тонким для хлебных злаков, вот для степных трав целинный чернозем был как раз тем, что требовалось. Здесь бы создавать животноводческие совхозы! Мясо нужно стране не меньше хлеба.

В пятьдесят шестом году я выпустил книгу очерков об Айртауском совхозе, о том, как в степи вырос современный поселок. Самой большой наградой для меня стало то, что она в совхозе понравилась, ведь я писал не о производственном процессе, а о людях, которым просто так не угодишь, поскольку жизнь у них там легкой не назовешь.

Время показало, что грандиозный проект Хрущева по освоению целины себя не оправдал, казахстанскую житницу ему создать не удалось.

...Последний раз я навестил свой совхоз в шестьдесят втором году, когда работал уже в «Правде». Написал о нем очерк специально для газеты, выбирая выражения, чтобы не

оскорбить Хрущева с его целиной. Писал о том, что теперь, в освоённой людьми степи, на базе созданных ими хозяйств, можно было бы начать развивать животноводство.

Но руководство газеты не решилось напечатать мой очерк. Вот когда отправили Хрущева в отставку, то начали было худым словом поминать его целинную эпопею, но тут же прекратили, словно по команде.

Как говорится, ларчик открывался просто: дело было в том, что практически, повседневно руководил освоением целины Брежнев, возглавлявший тогда партийную организацию Казахстана. После Хрущева он стал нашим новым вождем. По недомыслию Брежнев гордился своей деятельностью на целине до самой смерти.

Кризис жанра

В отличие от затворника Сталина Хрущев без конца метался по стране и всему миру, каждый его шаг и чих находил детальное отражение в «Правде» и других средствах массовой информации. Выступления Хрущева и сообщения о его делах и бесконечных перемещениях стали главным газетным жанром.

Он отнюдь не отличался фотогеничностью, но его снимки не сходили с газетных и журнальных страниц. Все чаще и чаще он удостоивался высших правительственных наград, и каждое такое событие вызывало новый взрыв пропагандистских восторгов.

В таком общественном климате «Правда» и вся газетная публицистика заменялась однообразным барабанным боем, и это касалось уже не только материалов лично о Хрущеве. «Правда» все больше утрачивала свой, если так можно выразиться, газетный вид. Одна за другой в ее номерах шли так называемые тематические полосы, в которых не содержалось никакой информации, а демагогии было на сто один процент.

Вот типичные «шапки» (заголовки) таких полос: «Торжество гения советского человека», «Слава Родине, партии

слава!», «Семилетку за пять лет!» (при Хрущеве перешли от пятилеток к планированию на семь лет). Газета вырождалась в какой-то лубок, агитационный листок для не очень развитых людей.

Мало этого! Пошли один за другим целые тематические номера, не только тематические полосы: «Коммунизм утверждает на земле свободу» (одна эта тема на весь номер от начала до конца), «Коммунизм утверждает на земле братство», «Коммунизм утверждает на земле равенство»... и тому прочее. А задолго до шестидесятилетия «Правды» пошли тематические полосы к этой дате, а сам юбилей превратили в «великий всенародный праздник ленинской «Правды».

Подлинной трагедией наших газет, «Правды», в первую очередь, было то, что они сами лишили себя своей главной функции – перестали быть источником информации, газетные жанры оказались как бы отменены. Другим лейтмотивом газеты, вслед за прославлением Хрущева, было как и прежде прославление и возвеличивание партии большевиков, уже давно провозгласившей себя умом, честью и совестью нашей эпохи.

Пожалуй, ничто другое не говорило столь красноречиво о ее диком убожестве, как такое неудержимое самовосхваление. Оно было особенно безобразным на фоне всего того, что творилось в стране.

Например, и тогда, и тем более сегодня, в XXI веке, мало кто знал о кровавой трагедии в Новочеркасске, разыгравшейся при Хрущеве. Там доведенные до отчаяния тяготами повседневной жизни горожане вышли на мирную демонстрацию протеста, а ее расстреляли войска, было много убитых и раненых, потом был суд, по приговору которого расстреляли, так называемых, «зачинщиков беспорядков». Точно так же строго-настрого замалчивались и другие подобные события, омрачавшие хрущевский политический балаган.

Мало кто знает сегодня и о том, что при Хрущеве функционировало одно периодическое издание – газета «Известия», которое все же было похоже на нормальный печатный орган,

даже отличалось некоторой свободой слова, хотя о таких событиях, как трагедия в Новочеркасске, тоже умалчивало.

Удивительный факт существования такого издания был самым тесным образом увязан с жалкой судьбой «Правды». При Сатюкове в роли главного редактора она создавала нужный фон для газеты «Известия», которую при Хрущеве возглавил его зять Алексей Аджубей.

Как же артистически оттенял его Сатюков своей серой газетой, своим внешним видом и образом жизни! Ему это давалось, по-моему, легко, настолько это были разные люди, хотя их часто можно было видеть вместе. Они обычно вместе выезжали за границу, брали интервью у местных лидеров, обязательно вдвоем сопровождали там Хрущева. Видимость дружеских отношений создавали и возглавлявшиеся ими редакционные коллективы, что выражалось в совместных праздничных встречах.

Помню, как, например, в шестидесятом году правды и известинцы вместе встречали очередную годовщину Октябрьской революции в Центральном доме работников искусств. Вечер завершился банкетом и танцами. Разгулялись до того, что Аджубей пробил ногой самый большой барабан в оркестре.

В течение нескольких лет Аджубей являлся по своей известности вторым человеком после Хрущева. Он был, как и его тесть, тоже весьма колоритной фигурой, с годами даже стал походить на него, правда, все же отличался от него образцованностью.

Он делал газету, ориентируясь только на своего тестя, а тот, как известно, был человеком непредсказуемым, с большой амплитудой эмоциональных и политических колебаний. Аджубей имел возможность постоянно получать из первых рук нужные и часто меняющиеся установки. Он был достаточно умен и ловок, чтобы максимально использовать свое уникальное положение зятя Хрущева на посту главного редактора «Известий».

Взлет Аджубея оказался стремительным и, можно сказать, целеустремленным. На факультете журналистики в Москов-

ском университете он устроился в ту же группу, в которой занималась дочь Хрущева Рада. Она была порядочной, умной и скромной девушкой, но женскими прелестями не блистала. Аджубей тут же развелся со своей женой-красавицей и женился на Раде. Потом стало ясно, что журналистика была для него только первым этапом в задуманной им карьере, он мечтал о многом, но неожиданный конец Хрущева сломал и его жизнь.

После окончания университета он быстро-быстро прошел в газете «Комсомольская правда» путь от литературного сотрудника до главного редактора, а потом перебрался в кресло главного редактора «Известий». Тогда и родилась в недрах редакции «Комсомольской правды» поговорка: «Не имей сто рублей, а женись, как Аджубей».

Объективно его работа в нашей журналистике пошла ей на пользу, поскольку человек он был способный и с организаторской жилкой. Писал же сам весьма средне, его публицистика страдала сентиментальностью и казенной нравоучительностью. Я не раз сталкивался с ним, когда мы оба работали в молодежной печати, и потом, когда я был уже в «Правде», а он – в «Известиях». Могу свидетельствовать, что ему импонировало сопоставление двух газет, «Правды» и «Известий», и их главных редакторов.

К сожалению, это была не единственная человеческая слабость зятя Хрущева: он, увы, сильно пил и был каким-то патологическим бабником. При таком образе жизни он был постоянно окружен, не совсем приятной, на мой взгляд, компанией.

В восемьдесят восьмом году Аджубей опубликовал свои воспоминания, в которых он, естественно, никак не критикует своего тестя, но даже при всем его благожелательном отношении к Хрущеву не может не припомнить, какая странная атмосфера окружала тогдашнего всеильного вождя. Так, он пишет:

«...На даче собрались гости. Нельзя было не заметить, насколько хозяин отличался от них. Обветренный, загоре-

лый, с седеньким венчиком волос по кругу мощного черепа, Хрущев походил на приезжего родственника, нарушившего чинный порядок застолья. В тот вечер он был в ударе, сыпал пословицами, поговорками, каламбурами, украинскими побасенками.

Он чувствовал, конечно, что его простоватость коробит кое-кого из гостей, но это его нисколько не смущало. Цепкие глаза бегали по лицам собравшихся и, казалось, в них, как в маленьких зеркальцах, отражалось все, что владело его вниманием. Без пиджака, в украинской рубаше со складками на рукавах – у него были короткие руки, как он говорил, специально для слесарной работы, Хрущев предлагал и другим снять пиджаки, но никто не захотел.

Гости сидели со снисходительными минами на лицах, не очень-то скрывая желание отправиться по домам, но встать из-за стола не решались. Было видно, что они принимают Хрущева неоднозначно, что вынуждены мириться с тем, что он попал в их круг, а не остался там, на Украине, где ему самому, по-видимому, жить и работать было легче и сподручнее. Эта несовместимость Никиты Сергеевича с гостями вызывала неловкость и даже тревогу. Нина Петровна (*жена Хрущева – В.Н.*) сказала: «Давай отпустим гостей».

Как известно, Чехов перед смертью попросил шампанского. По свидетельству личного повара Хрущева, тот потребовал перед смертью пива и соленый огурец.

На страшном рубеже

Самым страшным промахом Хрущева на международной арене стала история с нашими ракетами на Кубе. Эту несчастную страну во главе с диктатором Фиделем Кастро наши пропагандисты окрестили «Островом свободы» в пику соседней Америке. За счет собственного народа наши правители кормили и содержали Кубу, вкладывали в нее миллиарды долларов, снабжали буквально всем – от продовольствия до оружия. «Правда» и все наши средства массовой информации

сочиняли басни о счастливой жизни на острове победившего социализма.

Хрущев додумался до того, что тайком завез на Кубу стратегические ракеты и, разумеется, обслуживающий их персонал. Американцы тут же узнали об этом, и разразился небывалый международный скандал, мы оказались на грани войны с Америкой, которая потребовала убрать с Кубы наши ракеты. Мы на это не соглашались, весь мир замер от ужаса в ожидании неминуемого столкновения двух ядерных держав. На Кубу направились наши корабли, американцы предупредили нас, что не допустят их туда. Мы уже начали готовиться к войне, отменили осеннюю демобилизацию в армии и на флоте.

Трагизм ситуации усугублялся тем, что мы поначалу упорно отрицали сам факт наличия наших ракет на Кубе. Американцы же демонстрировали на весь мир фотографии этих ракет, сделанные их самолетами-разведчиками. «Правда», понятное дело, возглавила эту нашу чудовищную по своей наглости кампанию лжи и обмана общественного мнения.

Главный политический обозреватель газеты Юрий Жуков в статье «У последней черты» (понимал же, до чего мы довели дело!) писал: «Фантастическая версия о внезапном обнаружении на Кубе советских ядерных ракет большого радиуса действия не вызывает доверия у сколько-нибудь осведомленных людей» (типичный беспардонный правдинский стиль!).

В те же дни на Кубе оказался и мой старый приятель Евгений Евтушенко, он прислал в «Правду» стихи на эту тему, которые были тут же опубликованы в газете. В своих виршах он, как и Юрий Жуков, отстаивал нашу ложь и проклинал американцев! Разумеется, не мог он, находясь на Кубе, не знать о наших ракетах.

По своей воле лгал или заставили? Он всегда балансировал между вызовом власти и компромиссом с ней, но на сей раз зашел в этой игре слишком далеко, ведь речь шла о грядущей мировой катастрофе!

Но шила в мешке не утаишь, нам все же пришлось с позором вывезти ракеты с Кубы. По этому поводу «Правда» опубликовала несколько материалов на целую газетную полосу под «шапкой»: «Народы приветствуют мудрую миролюбивую политику СССР». Уму непостижимо! Все божья роса...

Вот в таком роде газета и освещала международные проблемы, «разоблачая» американских империалистов, поджигателей новой войны, описывая голод, нищету, безработицу, расизм, социальную несправедливость в странах капитала и ужасы остатков колониализма.

Во главе с «Правдой» все средства массовой информации с маниакальным упорством доказывали сами себе, что советские люди живут так, как звучало еще со времен Сталина в песне «Широка страна моя родная», полуофициальном нашем гимне: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек».

Прибегала наша массовая пропаганда и к видимости наукообразной критики, так, в хрущевской программе партии было записано и потом многократно процитировано следующее: «Монополистический капитал в конечном счете обреч буржуазное общество на низкие темпы развития производства...» Чья бы корова мычала!..

В «Правде» тон такому «теоретическому» уровню задавали передовые статьи без подписи, они всегда носили директивный характер и составлялись, словно домик из детских кубиков, из формулировок последних решений ЦК партии и выступлений Хрущева (после него – Брежнева).

В мою бытность их чаще других сочинял один так называемый партийный публицист Х. Не помню, чтобы он выступал в газете под своей фамилией. Как ни странно, человек он был вполне нормальный, даже симпатичный, скромный и простой мужик. Но писал он свои передовые всегда под портвейн. Не подумайте, что был совсем уже опустившимся пьяницей. Просто вкус у него был такой. В те времена свободно продавался вполне приличный портвейн нескольких сортов, это уже со временем его превратили в отравленное пойло для простого народа.

Работа и люди

Приступив к работе в «Правде», я сразу попал в уникальную ситуацию: обстоятельства сложились так, что мне пришлось дежурить по каждому очередному номеру газеты каждый день до поздней ночи два месяца к ряду. А выходила газета ежедневно, без выходных, всегда – после полуночи.

По вечерам я спускался в стеклянную конторку, расположенную прямо в типографском цеху, и проводил там плечом к плечу несколько часов с главным редактором и дежурным по иностранным отделам: они каждый день менялись.

Кроме нас троих, никому из редакционного аппарата там быть не полагалось. Сам главный, Сатюков, мог бы туда каждый вечер и не спускаться, а руководить выпуском газеты из своего кабинета – автоматическая почта работала по всей редакции, как часы, но он, старый газетчик, обожал этот ночной трудовой процесс и на несколько часов превращался в метранпажа, верстающего газету. Снимал свой пиджак, облачался в кожаную куртку, которая всегда висела в нашей конторке, и начинал перекраивать уже сверстанные газетные полосы.

Я в газете никогда не работал, и этот каторжный ночной труд стал для меня как бы ускоренным двухмесячным курсом обучения, хотя всеми, окружающими меня, почему-то предполагалось, что я все знаю и умею. Затем мне пришлось точно так же проводить многие вечера и ночи в течение трех с лишним лет, но больше ни разу не доводилось стоять на такой вахте два месяца к ряду.

Известно, что газетная работа – дело изнурительное, в редакции «Правды» это ощущалось тем более, потому что никому не под силу было изменить ее унылый облик. В то же время на редакционных летучках и других совещаниях обычно много говорилось о необходимости улучшать газету – точно так же ЦК партии бесконечно и безуспешно пытался улучшать жизнь народа, поднимать сельское хозяйство, совершенствовать систему управления и тому прочее.

В желающих поговорить на эту тему недостатка в редакции никогда не было, ведь в ее аппарате числилось более трехсот человек, не считая типографских специалистов. К тому же постоянными корреспондентами «Правды», то есть тоже ее штатными работниками, трудились около двухсот журналистов как в нашей стране, так и за рубежом.

Весь этот огромный коллектив ежедневно делал газету, выходящую всего на четырех-шести полосах. На Западе такую газету обычно делает редакция из нескольких человек. Значит, подавляющему большинству сотрудников просто нечего было делать. Оставалось симулировать трудовую деятельность и рассуждать об улучшении газеты.

«Правда», будучи главной газетой страны, сама наглядно демонстрировала катастрофически низкий коэффициент полезного действия советской системы. Так же, как в «Правде», обстояло дело и в других органах печати. В редакции журнала «Огонек» работало около ста человек, хотя вполне хватило бы и двадцати. Это был общий закон так называемого социалистического труда. Такой же умопомрачительно низкой производительностью труда по сравнению с Западом отличались у нас и промышленность, и сельское хозяйство, и управленческий аппарат...

Огромное многоэтажное здание редакции «Правды» было забито сотрудниками, к ночи их становилось значительно меньше, но все равно и тогда людей хватало с избытком.

Чем же они занимались? В основном делали вид, что работают. Только процентов десять-пятнадцать из них по-настоящему делали газету, участвовали в производственном процессе, остальным просто не было места у редакционного конвейера, да они к нему и не рвались.

Немало людей в редакции в силу общей советской традиции усиленно создавали видимость общественной деятельности – партийной, профсоюзной, комсомольской и тому прочее. Впрочем, такие идиотские порядки общеизвестны, поскольку увековечены в бессмертных описаниях учрежденческих (в том числе и газетных!) будней, остав-

ленных нам Булгаковым, Ильфом и Петровым и другими писателями.

Чем же запомнились редакционные бдения? В первую очередь, пьянством. В те времена спиртное открыто продавалось в редакционной столовой и двух буфетах на этажах. Прямо напротив главного входа в редакцию был большой продуктовый магазин, в котором можно было найти, что выпить и чем закусить. В коллективе выпивали почти все, некоторые сильно.

Начать с того, что этим грешили оба заместителя главного редактора, который не пил и не курил. Один из них, Козев, был правой рукой главного, другой, Некрасов, заместителем главного по международной тематике. Козев к вечеру обычно бывал в заметном подпитии, Некрасов же напивался время от времени, но довольно часто. Козев в редакции был самым близким человеком к Сатюкову, отношения у них были просто дружескими. Почему главный, типичный Каренин по своему облику и поведению, трезвенник и застегнутый на все пуговицы службист, терпел около себя этого редакционного Стиву Облонского? По старой дружбе, за личную преданность, за высокого класса профессионализм? Только Козев позволял себе спорить с главным.

У меня с Козевым, как и с главным, сложились хорошие отношения, он был знающим человеком, настоящим газетчиком, не любил лишней болтовни и с ним приятно было иметь дело, что было очень немаловажно в повседневном суматошном производственном процессе. Наши отношения омрачились только под самый конец моего пребывания в газете, он не хотел, чтобы я переходил в «Огонек», долго убеждал меня не делать этого. Вот что примерно он говорил мне:

«Правда» это – вершина журналистики, своего рода закрытый монастырь. Кто в него попал, тот должен хранить ему верность. Допустим, ему, Козеву, предложат перейти в «Огонек» главным редактором или же остаться в газете, но курьером. «Я останусь в «Правде» курьером!» – восклицал он. И так далее, и тому подобное.

Думаю, он не очень лукавил. И сильно обижался на меня за то, что я к нему не прислушиваюсь. Шумели мы с ним на эту тему, разумеется, ночью у него в кабинете, он уже принял свою обычную порцию и заявил, что будет противиться моему переходу в журнал. Я всерьез расстроился и тут же поспешил от него к Сатюкову, как бы еще раз попрощаться с ним. О только что состоявшемся разговоре с Козевым я и не думал упоминать.

Главный снова благословил меня на новую работу и при мне распорядился об официальном оформлении моего перехода. После этого я вернулся к Козеву и сообщил, что главный, оказывается, уже сам обо всем распорядился. Хотя Козев и позволял себе многое в отношениях с Сатюковым, но знал, что тот своих решений не меняет.

Помимо пьянства, в редакции процветали еще и амурные дела, то есть служебные романы. С машинистками, многочисленными сотрудницами отдела писем, секретаршами, курьерами, референтами, буфетчицами... Мужчины, как правило, были постарше, женщины – значительно моложе. Романы эти особо не скрывались и не преследовались, да и можно ли было их утаить в стенах редакции? У всех на глазах... Такой атмосфере во многом способствовала редакционная специфика: отдельные кабинеты, работа по ночам, доступность спиртного, одуряющее однообразие повседневной суеты.

Кстати, «Правда» не была каким-то исключением, стиль ее работы и редакционной жизни был весьма схож с буднями других газет и журналов. Так, в одном доме с «Правдой» располагалась редакция газеты «Комсомольская правда». Там были такие же порядки, как и у старших коллег.

Я неплохо знал эту редакцию, не раз печатался в «Комсомолке», несколько ее сотрудников были моими приятелями. То же самое можно сказать о журнале «Крокодил», где я часто печатался и выпустил в библиотеке журнала три книжки фельетонов и памфлетов.

Между прочим, «Крокодил» соседствовал со «Сменой», откуда я и пришел в «Правду». Поблизости располагался и

журнал «Огонек», редакцию которого я тоже неплохо знал и в котором печатался еще до того, как стал огоньковцем.

Всюду редакции жили по тем же неписанным законам, по которым жила «Правда». Время от времени случались скандалы и просто анекдотичные происшествия в связи с пьянством и амурными делами, но от этого редакторская жизнь никаких изменений не претерпевала.

Долгие и бесплодные редакционные часы, ночные бдения, переизбыток сотрудников заставляли правдивов находить и другие занятия, помимо вина и женщин. Играли в шахматы, некоторые очень прилично. Играли в преферанс, игру долгую и азартную. До костяшек домино дело почему-то не доходило, хотя это немудреное развлечение пользовалось большой популярностью среди наших вождей, которых постоянно затягивал в эту забаву сам Брежнев.

Как я уже упоминал выше, около двухсот правдивов работали постоянно не в Москве, а за ее пределами, за границей и по всей нашей стране, назывались они собственными корреспондентами газеты. Да, более ста здоровых и, как правило, способных журналистов, работали на газету, которая выходила всего-навсего на четырех-шести полосах! Понятно, что их коэффициент полезного действия, то есть выход на страницы «Правды», был ничтожен. Они особо и не напрягались, жили в своих вотчинах неплохо. Я не раз навещал их в нашей стране и за ее пределами, смог сам в этом убедиться.

Еще любопытная деталь из жизни редакции газеты: многие ее собственные корреспонденты за границей были нашими разведчиками – то же самое имело место и в других газетах и отчитывались за свою работу не столько перед редакцией, сколько пред КГБ и ГРУ (военная разведка).

Вообще многие наши дипломаты, работники внешней торговли, «Аэрофлота», «Совэксспортфильма» и других организаций были на самом деле разведчиками. Даже в те времена это не было у нас большим секретом, а с приходом гласности об этом в прессе не писал только ленивый. Так, стало, например, известно всем и каждому, что мой бывший коллега

по «Правде», Евгений Примаков, корреспондент газеты по Ближнему Востоку, был разведчиком и в постсоветской России дорос до главы ГРУ.

Газетчики долго не живут

Когда я вспоминаю своих коллег-правдистов, то думаю о том, что многие из них просто сгубили себя в газете, оказавшись невостребованными. В редакционном коллективе хватало бездарей и бездельников, но были также люди и способные, их в свое время пригласили в «Правду», потому что они достойно проявили себя в других редакциях. Но в «Правде» они сделать ничего не могли, не было для этого ни условий, ни места на газетных полосах.

Тем не менее их держали в редакции, платили приличную зарплату, обеспечивали более или менее достойным жильем – что всегда имело у нас огромное значение!, были у них кое-какие привилегии, все-таки в главном органе ЦК партии работали... С одной стороны, материальное благополучие, с другой, – профессиональная импотенция.

Неподалеку от моего кабинета располагался сотрудник отдела местной прессы Гусев, с которым мы подружились. Умнейший и добрейший был человек! Его отдел должен был обобщать в «Правде» опыт работы местной партийной печати, таких газет было множество по всей стране. Их в редакции получали и кое-как просматривали, поскольку на газетных полосах места для этой темы, как правило, не находилось.

Несколько сотрудников отдела работали, можно сказать, вхолостую. А ведь были среди них и настоящие профессионалы. Тот же Гусев был просто энциклопедически образованным человеком, к тому же являлся одним из самых известных в мире специалистов по эсперанто. В редакции ему удавалось проявлять себя только в качестве... сильного шахматиста. Историки журналистики его имени на страницах газеты не найдут.

Другой мой коллега по «Правде», Овчинников, работал корреспондентом газеты в Японии и заслужил себе громкое

имя яркими очерками, вошедшими потом в его книгу «Ветка сакуры», но печатались эти очерки не в «Правде», а в журнале «Новый мир». В своей же газете он был вынужден писать вот так: «Чем дальше развивается социалистическая система, тем сплоченнее она становится – такова уж сама ее природа... Сейчас на наших глазах одно десятилетие (*речь идет о начале 1961 года – В.Н.*) передало другому эстафету коммунизма. Социалистические страны уже достигли тех вершин, что розовеют в предутренних лучах. Велико счастье первыми встречать завтрашний день. И еще радостнее сознавать, что отраженным светом этой занимающейся зари горят глаза сотен миллионов людей там, где еще лежит редееющий ночной сумрак».

Да, вот так и звучала правдинская «лирика», в данном случае, по-моему, даже как-то издевательски. Думаю, что Овчинников сам потешался, когда сочинял этукую публицистику.

В «Правде» я подружился с Литошко, он был тогда заведующим отделом американских стран и членом редколлегии. Еще накануне войны он окончил институт иностранных языков и поступил на работу в иностранный отдел газеты «Известия». Во время войны был военным переводчиком, а после демобилизации стал работать корреспондентом московского радио в США, затем перешел в «Правду».

Но что он мог там сделать со своими глубокими знаниями и хорошим профессиональным пером?! Почти ничего. Мог только каждый день заседать на редакционной коллегии, что само по себе человеку нормальному могло показаться только пустой тратой времени. По своей должности мне тоже приходилось присутствовать на редколлегии, так что я сужу об этом со знанием дела.

Другой правдист, Стрельников, и я вместе и одновременно начинали журналистскую карьеру еще в сорок восьмом году в отделе печати Антифашистского комитета советской молодежи, о котором я уже упоминал выше. С тех пор нас связывали многолетние дружеские отношения. Потом оказались вместе в «Правде».

Борис Стрельников всегда был больше склонен к очерку, а не к статейной сухомятке, в «Правде» же ему приходилось в основном «разоблачать» американский империализм, писать о том, как плохо живется за океаном. Он был собственным корреспондентом газеты в США.

С другим американистом, Вишневым, я познакомился в «Правде». Он хорошо писал, был настоящим газетчиком, а главное – глубоко и систематически изучал Соединенные Штаты, законно гордился своим огромным личным досье по Америке, где он одно время работал корреспондентом «Правды». Между прочим, редакционное начальство относилось к нему, на мой взгляд, довольно прохладно (подумаешь, всезнайка выискался!).

Литошко, Стрельников, Вишневский, трое известных американистов, вроде бы преуспевающие люди, сделавшие по тем временам блестящую карьеру. Им жить бы да поживать! Литошко умер в сорок восемь лет, ненамного пережили его Стрельников и Вишневский. Могу заметить, что все трое к сильно пьющим не относились. Недаром говорят, что газетчики долго не живут. В «Правде» тем более.

Глаза в подарок

При всем своем канцелярском официозе «Правда» отличалась еще таким качеством, которое можно назвать казенным романтизмом, иногда даже – казенным сентиментализмом. Вполне доброкачественные и реальные события газета умела ставить на свои пропагандистские котурны. Случалось, что «Правда» сама изобретала сенсации казенно-патриотического толка и потом их раздувала.

Так произошло, например, в мою бытность в газете с перекрытием Енисея. Тогда много шумели об освоении Сибири и покорении ее могучих рек, додумались даже до такой безумной идеи, как поворот этих рек! Енисей перекрывали в связи с сооружением гигантской электростанции. В ходе огромного строительства эта операция сама по себе ничего

особенного не представляла, для нее требовалось две-три сотни мощных грузовиков и много камня.

Но мой приятель и коллега по «Правде» Евгений Рябчиков, известный советский журналист, решил устроить из этого перекрытия очередную эпохальную победу на нашем пути к коммунизму. Он задумал направить на Енисей выездную редакцию «Правды» и включить в нее ведущих советских журналистов, писателей и фотокорреспондентов, а на страницах газеты организовать пропагандистскую кампанию на весь мир. Своей идеей он поделился со мной, я ее не одобрил, но он ко мне не прислушался.

Надо было знать Женю. Неплохой сам по себе человек, он вырос как репортер в ужасные тридцатые годы, и такого рода «подвиги», какой он решил сам организовать, вошли в его плоть и кровь. Точно так же он, не без помощи «Правды», уже тогда придумал героя, имя которого вошло даже в нашу энциклопедию, изданную в девяносто первом году, когда от многих мифов прошлого нам пришлось уже отказаться. А тогда, в тридцатые годы, молодой Женя нашел пограничника Никиту Карацупа, о котором в энциклопедии теперь сказано, что он «задержал 338, уничтожил 129 нарушителей границы». Внушительно звучит, не правда ли? Один со своей знаменитой сторожевой собакой Карацупа спас страну от стольких вражеских лазутчиков, шпионов и диверсантов!

Но раскроем секрет этой очередной пропагандистской басни тех лет. Служил Карацупа на нашей южной границе в Средней Азии. «Нарушители», которых он задерживал или уничтожал, вовсе не стремились проникнуть на нашу территорию, наоборот, они спешили ее покинуть, бежали через границу из Советского Союза от ужасов сталинского террора. К тому же вообще в том регионе местные жители по обе стороны государственной границы никогда всерьез ее не признавали. Карацупа стал Героем Советского Союза и дослужился до полковника.

С такой репортерской практикой за плечами Рябчиков и обратился к Сатюкову со своим предложением о перекрытии

Енисея с помощью «Правды». Главный редактор поддержал его идею и рассказал о ней на заседании редколлегии. Один только Козев осмелился выступить против этой пропагандистской акции газеты, но Сатюков настоял на своем.

В специальном вагоне два десятка членов выездной бригады «Правды» выехали в Сибирь. Несколько дней подряд на первых полосах газеты они рассказывали о перекрытии Енисея. Среди членов бригады, возглавлявшейся Женей, были Константин Симонов, Роберт Рождественский. Борис Полевой... Можно сказать, своего Рябчиков все же добился: теперь в известной песне о том времени есть и такие строки:

*Зато мы делаем ракеты,
перекрываем Енисей.
А также в области балета
мы впереди планеты всей.*

Я намеренно привел эти примеры, потому что история, о которой речь пойдет ниже, могла бы без такой подготовки показаться читателям просто неправдоподобной.

Дело было в следующем. Среди прочих отделов в редакции имелся отдел писем, который разбирал читательскую почту и работал с ней. Время от времени для главного редактора отбирали несколько писем, какие, по мнению отдела, могли бы его и газету заинтересовать.

Однажды положили ему на стол письмо от студентки томского института Ш. Она сообщала об осенившей ее идее, студентка решила предложить свои глаза слепому лидеру американской коммунистической партии Генри Уинстону, о котором в нашей прессе не раз упоминали. Она, в частности, писала:

«...Предлагаю Вам свои глаза. Я молода, мои глаза прекрасно видят, Вам они нужны для предстоящей борьбы. Вы должны дать согласие. Ответьте мне, и я приеду к Вам, где бы Вы ни находились. Поверьте, я хочу, чтобы Вы были у Вашей коммунистической партии таким же, как прежде. Прошу Вас,

не отказывайтесь от моего предложения. Вам предстоит много сделать для вашего народа, для вашей коммунистической партии, и я хочу быть вместе с Вами. Уверяю Вас, я пишу совершенно искренне – я уже достаточно взрослая, мне двадцать лет. Жду Вашего ответа и согласия...»

Сатюков пришел в восторг. Решил раздуть из этого газетную сенсацию. Для начала письмо передали самому Уинстону, который как раз в то время находился на отдыхе в подмосковном санатории.

Тот написал в ответ большое письмо, в котором все же разумно отнесся к столь необычному предложению, он, в частности, писал: «...Я очень хорошо понимаю искренность твоего предложения. И рад сказать, что не могу принять его, моя беда – не глаза, а нервное истощение...»

Оба письма были опубликованы в «Правде», а в Томск срочно послали корреспондента и фотокорреспондента, которые до этого побывали у Генри Уинстона в санатории. Сатюков вызвал меня к себе, рассказал об этой затее, попросил проследить, чтобы не было никаких задержек с текстом и фотографиями из Томска, он хотел опубликовать этот материал как можно скорее.

Я попробовал деликатно объяснить ему, что у меня лично этот замысел вызывает большие сомнения, начиная с излишне экзальтированной студентки – все-таки не школьница какая-нибудь, а двадцатилетняя девица! Не мог же я ему прямо заявить, что все это – полный идиотизм! Но он был непреклонен. У меня создалось впечатление, что Сатюков от избытка чувств уже успел поделиться своим замыслом с Хрущевым и тот, похоже, возликовал вместе с ним.

Итак, репортаж из Томска был опубликован, он был назван с правдистской выпендренностью: «Ярче любых бриллиантов в короне» (именно так отозвался в своем письме Уинстон о глазах студентки Ш.)

В тексте также говорилось и о том, какой фурор произвела в Томске вся эта история. В институтском актовом зале по этому поводу состоялся митинг, в нем приняли участие

не только студенты, но и городская общественность. Сообщалось кое-что и о самой студентке. Родом она была из простой и бедной семьи. Отец погиб в Великую Отечественную войну, вдова осталась с пятью детьми на руках, так что жизнь у студентки Ш. была не из легких.

Перед отъездом из Томска оба корреспондента, назовем их Ж. и В., решили такое событие отметить. Надо сказать, что оба любили выпить и погулять и, тем не менее, ходили у Сатюкова в любимчиках, потому, наверное, и поручил им это дело. Ж. и В. пригласили к себе в номер студентку Ш. и двух ее подруг, устроили попойку, дошло дело и до постели. И тут оказалось, что Ш. была девицей, у нее началось обильное кровотечение, что вызвало большой переполох в гостинице.

Томское партийное начальство сразу сообщило о случившемся в ЦК партии и Сатюкову. Обоих гуляк уволили из редакции.

О таком финале всей этой истории в газете, разумеется, не сообщали. Наверняка не узнал об этом и Генри Уинстон.

Окончание в № 234

АНТОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА

Елена Мунтян

Осень художника

Прошло два ясных октябрьских дня с тех пор, как замок Стен опустел. Никто не мешал работать, дети не кричали и не дергали поминутно, из слуг остались только самые близкие.

Но Рубенс работать не мог. Он сидел перед открытым окном в мастерской, равнодушно озирая великолепный пейзаж вокруг своего замка и испытывая липкий страх: приступ непонятной болезни – внезапного онемения всего тела – мог и пройти, а мог опять сделать правую руку недвижимой. Прошлым летом после подобного приступа ему два месяца пришлось рисовать левой рукой и терпеть бесчисленные кровопускания.

Рубенс размышлял о том, что обострение болезни случилось, несомненно, от невыносимой обиды, которую нанесла ему Елена. Мысленно повторяя слова жены, он никак не мог понять их смысл. Она сказала: «Вы не способны полюбить мою душу; для Вас существует лишь мое тело».

Петер Пауль опять почувствовал приступ боли. Это ж надо – придумать такую глупость! Разве это справедливо? Его охватила острая жалость к себе: ему скоро исполнится шестьдесят три года, и последние девять лет он жил только для семьи – жены и детей.

Теперь все покинули его, бежали из холодного замка в блестящий Антверпен. Он может умереть здесь в одиноче-

стве, он, величайший художник на свете! Девять лет идиллической семейной жизни: радость от рождения детей, удовольствие и покой, которые даются высоким положением и богатством, наслаждение размеренным образом жизни. Петер Пауль всегда любовался женой и не позволял себе сомневаться в том, что разница в возрасте в четыре десятка лет – не помеха полноценной взаимной страсти.

Постепенно почти на всех картинах Рубенса появилась Елена в блеске полнокровной красоты. Время от времени окружающие осторожно заговаривали с художником о том, что ее изображения становятся все более вызывающими: это уже не абстрактная плоть, а дышащее женское тело.

Но Рубенс был слишком самоуверен и независим, чтобы прислушиваться к кому бы то ни было; он продолжал писать Елену в свое удовольствие, щедро раздевая ее на картинах – чтобы все видели, какая у него роскошная юная жена.

Он был искренне убежден, что ей это также доставляет радость или, по меньшей мере, не внушает отрицательных эмоций. Да она должна быть счастлива, что гений увековечил ее! Но три дня назад, увидев поутру картину, где она изображена в полный рост лишь прикрытая собольей шубкой, Елена вдруг разрыдалась и стала требовать, чтобы он немедленно переписал полотно.

– Вы что, не понимаете, Петер Пауль, что наши дочери и сыновья очень скоро вырастут – и увидят мать в неприличном виде? Я прошу Вас, нет, я решительно требую...

Петер Пауль вытаращил глаза: он и не предполагал, что у его кроткой жены может быть такой громкий голос. Мало того, она способна истерически кричать! Уже тридцать лет ни один заказчик, среди которых, между прочим, немало персон королевской крови, не смеет делать ему замечания! Но Рубенс ответил сдержанно, как подобает советнику Его Величества короля Испании:

– Уважаемая супруга, я полагал, что Вашим непосредственным долгом является воспитание детей и наведение порядка в наших домах и поместьях. Живопись была, есть

и будет исключительно моей прерогативой. Кроме того, Вы всегда утверждали, что повиноваться мне – самая приятная из Ваших обязанностей. – Только после этих слов он позволил себе треснуть табуретом об пол.

Но по-видимому что-то случилось с этой женщиной. Она не ушла к себе, смиренно прося прощения – что было бы наиболее разумно с ее стороны. Нет, Елена покраснела от волнения и произнесла совершенно ужасную, грубую фразу:

– Я боюсь, что подобными картинками Вы проповедуете похоть, уважаемый супруг, – и добавила глупую фразу насчет его неспособности любить ее загадочную душу.

Разразилась семейная ссора, после чего Елена забрала детей и большую часть слуг, села в карету и удалилась в их особняк в Антверпене. Кто внушил ей подобные мысли? Кто научил критиковать – его, великого Рубенса? Воистину ближние – главные враги человека. Петер Пауль застонал: приступ боли почти прошел, но боль душевная становилась невыносимой. Он позвонил в бронзовый колокольчик, чтобы пришел Люкас – любимый ученик и верный помощник.

– Люкас, прошу Вас, принесите шампанского – то Аи, что было прислано из Брюсселя Его Высочеством неделю назад.

– Да, но... – Люкас замялся; возражать патрону всегда было очень опасно, особенно если в зоне его досягаемости находились тяжелые металлические предметы.

Страшная правда состояла в том, что по крайней мере половину ящика с драгоценным напитком он, Люкас Файдербе, выпил в своей комнате, предаваясь по ночам мечтам о скорых временах, когда он станет также богат и известен как Рубенс. – Но, учитель! Врачи сказали, что при Вашей подагре нельзя пить шампанское. Совершенно невозможно.

– Плевать. Что не позволено быку, дорогой Люкас, то позволено Юпитеру! Мне то есть. Тащите шампанское, живо! – Рубенс попытался бодро встать с кресла, но слабость была еще очень сильной и он плюхнулся обратно со старческим кряхтением.

– И потом, к обеду будет господин Жербье, он тоже любит шампанское! – вовремя сообразил Лукас.

– А, да, старый прохвост придет навестить меня. Хорошо, выпью за обедом. Тогда несите кисти – буду работать, – и художник начал сосредоточенно растирать холодные руки.

Когда Рубенсу удалось благополучно подняться, он принял из рук Лукаса палитру и кисти. С прищуром полководца, осматривающего войска, он пошел вдоль расставленных на мольбертах неоконченных картин. Сегодня пришло время вот этой, задвинутой в дальний угол. Рубенс пишет ее больше трех лет и постепенно картина приобретает для художника некое особое значение.

Итоговое полотно? Да ни за что! Он не собирается к праотцам, они с Еленой еще заведут и вырастят кучу детей. Просто так получилось, что обращаясь к картине «Святой Георгий», Рубенс думает о родных и любимых, живых и давно умерших, – и его рука невольно воспроизводит их лица. Рубенс занялся женскими образами и размышлял: удалось ли ему понять сущность любви или все-таки он упустил, проглядел что-то важное в отношениях с женщинами?

Первая его жена, Изабелла Брант, была доброй и мудрой. Он женился на ней в тысяча шестьсот десятом году, вернувшись в родной Антверпен из Италии, со службы у герцога Мантуи. Петер Пауль был счастлив с Изабеллой.

Что означало для него счастье? Чтобы жена не мешала ему целиком отдаваться работе, была разумной хозяйкой и... оставалась незаметной. Или Изабелла сама хотела быть такой – незаметной? Их семейная жизнь пожалуй была наиболее насыщенной в период, когда строился огромный дом-дворец на канале Ваппер.

Для масштабного строительства постоянно требовались деньги – Рубенс работал как сумасшедший, обучал и подключал к исполнению заказов учеников со всей Фландрии, ездил то в Париж, то в Брюссель – писать портреты членов королевских семей и придворных.

Возможно, он уделял мало внимания Изабелле, часто оставлял одну – но она никогда не жаловалась, неизменно встречая его кроткой улыбкой. У них родилась дочь и два сына. Петер Пауль без памяти любил малышку Клару Серену, которая лицом была похожа на Изабеллу, но гораздо живее, обладала отцовским темпераментом. «Господь часто забирает тех, кого любишь слишком сильно, – вздохнул художник. – Клара Серена умерла в возрасте двенадцати лет, а я до сих пор пытаюсь представить ее взрослой».

Тоскуя по дочери, Рубенс брался за масштабные проекты при дворе инфанты в Брюсселе и стал бывать дома совсем редко. Изабелла начала стремительно стариться, взгляд ее становился все более грустным. Она пыталась скрыть печаль – ее обожаемый супруг не любит сантиментов и проявления слабости – но Изабелле не всегда это удавалось. Петер Пауль, даже приезжая в Антверпен, старался избегать общества жены и редко бывал в роскошных комнатах своего дворца, где больше не звенел голосок Клары Серены. Он погружался в работу или проводил дни в обществе высокопоставленных друзей.

Сестра Изабеллы Брант была замужем за сыном богатого купца, Даниелем Фоурментом. У Даниеля, в свою очередь, много братьев и сестер, но Сусанна – всеобщая любимица. Она недавно вышла замуж, и в честь этого события семья Фоурмент попросила своего родственника Рубенса написать ее.

Во время сеансов художник беседовал с молодой женщиной и обнаружил ее чрезвычайно живой ум, глубокие познания в античном искусстве и современной архитектуре. Сеансы затягивались, они никак не могли наговориться; тоска Рубенса отступала, когда он общался с этой молодой женщиной. Увы, он всегда так быстро работал!

Рубенс закончил один портрет Сусанны и тут же принялся за другой. Они цитировали философов, смеялись над городскими сплетнями и даже поссорились однажды, потому что Сусанна не собиралась скрывать свое мнение о тех картинах художника, которые ей не нравились...

Она подтрунивала над его тягой к пышности, проявлявшейся в обилии деталей, а также в избытке золотой краски на картинах. Рубенс не привык к такому обращению, – и, вспыхнув, накричал на нее, Сусанна в ответ наговорила дерзостей. Сеансы прекратились, и очень кстати, потому что ее супруг, дворянин Раймонд дель Монте, хоть и признавал относительную независимость жены – так было принято в Антверпене – но все же начал ревновать. «Пожалуй, – думал Петер Пауль, – Сусанна единственная женщина, которую я воспринимал как ровню. Она отличалась от других – то ли силой духа, то ли интеллектом. Несомненно, я был влюблен и вызывал в ее душе ответное чувство: она всегда краснела на сеансах и, кажется, готова была сутками не выходить из моей мастерской. Мы могли бы быть прекрасной парой, иначе я не возвращался бы к мыслям о ней снова и снова». Однако все случилось так, как случилось.

В июне тысяча шестьсот двадцать шестого тяжело заболела и скоропостижно умерла Изабелла Брант. В тот год Рубенс и Сусанна Фоурмент дважды встречались на похоронах: эпидемия унесла и жизнь Раймонда дель Монте, мужа Сусанны. Обоим предстоял двухгодичный траур.

Их взгляды встречались, но они опускали глаза: оба понимали, что во время траура проявление чувств неуместно. Рубенсу казалось, что она будет ждать его столько, сколько потребуется.

А пока овдовевший Рубенс при содействии Балтазара Жербье, человека из свиты герцога Бэкингема, вступил в самую крупную авантюру своей жизни: сыграл роль главного посредника в переговорах между Англией и Испанией. Прибыв к испанскому королю с поручением от Бэкингема, Рубенс провел при его дворе больше года.

В перерывах между официальными встречами он писал портреты членов королевской фамилии. Филипп IV Испанский присвоил художнику дворянское звание, назначил секретарем тайного совета Нидерландов и отправил в Англию временным послом Испании.

Петер Пауль хотел было заехать в Антверпен, объясниться с Сусанной Фоурмент, которую не мог забыть, но инфанта-правительница Нидерландов приказала ему направиться в Англию немедленно: ситуация осложнилась тем, что инициатор переговоров, герцог Бэкингем, был убит – зарезан в своем дворце.

При дворе короля Англии Рубенс пробыл долгих десять месяцев, ожидая замены и проклиная медлительность испанцев. Сусанна не знала, что он дважды писал инфанте Изабелле с просьбой позволить ему вернуться в Антверпен, но получал приказ дожидаться в Лондоне прибытия полномочного посла Мадрида.

Сусанна Фоурмент не дождалась возвращения Рубенса и вновь вышла замуж в тысяча шестьсот тридцатом году. Ее гордость была уязвлена тем, что за четыре года художник не нашел возможности объясниться, – а она была слишком практичной, чтобы бесконечно надеяться и верить в невысказанные чувства. Да и возраст: годы для женщины будто летят быстрее...

Спустя три месяца после вторичного замужества Сусанны Рубенс вернулся в Антверпен. Его дипломатическая миссия увенчалась успехом. На прощание Карл I, король английский, вручил художнику шпагу, золотую цепь и ленту, а также произвел в рыцари.

Никогда не отличавшийся скромностью, Рубенс широко разрекламировал в Антверпене свое намерение подыскать себе новую жену. Он повсеместно заявлял, что в свои пятьдесят три года чувствует себя молодым и отнюдь не готов к воздержанию. А потому, учитывая непревзойденный талант живописца, а также богатство и титулы, он, Петер Пауль Рубенс – один из самых завидных женихов во всей Фландрии.

Он так и объяснил в письме к другу: «Меня со всех сторон стараются убедить сделать выбор при брюссельском дворе, но сказать по правде, было бы тяжело потерять драгоценное сокровище свободы в обмен на поцелуй старухи». За этой бравадой он стремился скрыть свое разочарование: как могла

Сусанна упустить свое счастье – их счастье? Возможно, он ее и не выбрал бы. Но как она могла?!

Новую жену Рубенса звали Елена Фоурмент. Она как две капли воды похожа на старшую сестру, но волосы ее светлее, а черты лица несколько неопределенны, расплывчаты; это можно объяснить возрастом юной супруги – ей всего шестнадцать лет.

В течение девяти лет в семействе Рубенса царила благодать. До вчерашнего дня...С нежностью глядя на лицо Елены на картине, Рубенс подумал: « Разве способен художник, изображая любимую женщину, каждый изгиб ее тела, – не любить всем сердцем и ее душу? Пожалуй, отправлюсь-ка я завтра в Антверпен и постараюсь объяснить это Елене. Да и холодно становится в замке по ночам...».

– Учитель, карета господина Жербье въехала во двор! – сообщил бдительный Люкас Файдербе.

– Хорошо, – Рубенс не сразу смог «выйти» из работы, но через полминуты опомнился:

– Люкас! Срочно принесите мою парадную золотую цепь.

Они хорошо провели вечер. Сначала Рубенс показал старому приятелю изящные башенки, пристроенные к замку и предмет своей особой гордости – ров с подвесным мостом. Художник вложил уйму денег, сделав из своего замка подобие средневекового. Затем Петер Пауль продемонстрировал убранство залов; проходя с гостем по мастерской, Рубенс вдруг пожалел, что не закрыл портрет Елены материей.

– Ба! Простите...Я хотел сказать – где же ваша прекрасная супруга, мэтр ? – Балтазар Жербье буквально поедал глазами картину. – Я говорил вам, что кардинал-инфант в своем письме к испанскому королю назвал ее самой красивой женщиной Антверпена?

– Вам-то откуда известно, Балтазар, что он там пишет? – спросил Рубенс раздраженно; он бы с удовольствием схватил бы приятеля за нос и оттащил бы от портрета, – не будете же вы утверждать, что кардинал добровольно показывает вам свою переписку...лучше пойдете обедать. Моя супруга

уехала в Антверпен загодя, чтобы подготовить дом к моему приезду.

За обедом приятели беседовали о старых добрых временах, когда они оба участвовали в большой политике. Циник Жербье, родом тоже из Антверпена, а ныне английский подданный, до сих пор исполняет кое-какие сомнительные поручения лондонского двора, – ему все равно, за что получать деньги.

– Кстати, Балтазар, а как продвигается ваш трактат о ловле сельдей? – Рубенс прятал усмешку, он всегда считал «научную» деятельность Жербье анекдотичной.

– Это в прошлом! Я готовлю проект по разработке золотых и серебряных приисков в Америке, – похвастался Жербье, а Рубенс вдруг подумал, что их разница в возрасте, всего-то в десять лет, сейчас проявилась наглядно; ему уже никуда не хочется ехать, менять размеренный образ жизни. – Вы хотели бы побывать в Америке, Петер Пауль? Там, говорят, люди просто ходят по золоту, у них даже ноги скользят и разъезжаются, а глаза становятся раскосыми от блеска!

Рубенс искренне задумался, а затем ответил:

– Нет, мой друг. Больше всего на свете я хотел бы по-прежнему проводить все свое время с семьей и спокойно работать. И чтобы ничего не менялось, а было как сегодня.

– Так выпьем за это, мэтр!

Шампанское закончилось слишком быстро.

Петер Пауль Рубенс умер в мае тысяча шестьсот сорокового года – сердце не выдержало боли при сильном приступе подагры.

Его вдова спустя восемь с половиной месяцев после смерти Рубенса родила дочь, Констанцию Альбертину.

Елена Фоурмент хотела уничтожить картины, где была изображена в обнаженном виде, но кардиналу-инфанту, правителю Нидерландов, удалось через духовника убедить ее не делать этого.

Эдгар Эльяшев

Царевна-лягушка

Я – Телец, то есть, рожден под знаком Быка. Среди зодиакальных созвездий нет носящих имена амфибий. Есть, правда, Рыбы и Рак, но это не совсем то. Как говорится, не рак, не рыба, дурак Кандыба. Ни рыба, ни рак, Кандыба дурак.

Почему судьба решила доверить определенную роль персонально лягушке, мне неизвестно. Есть в этом нечто от мистики, от таинства движения светил, или каких-либо иных возмущений в небесных сферах.

...Первая лягушка появилась в нашем доме до войны. Неправдоподобно огромная, ядовито зеленая, она была привязана пышным золотистым бантом к картонной корзиночке пирожных. Вкусом напоминала волейбольный свисток, так же отдавала целлулоидом. Увы, та лягушка, как и наполеоны с эклерами, оказалась недолговечной. Ее растрепал на части соседский шпиц Тамерлан. Потом Тамерлан и сам попал под машину, и умер сразу, без мук.

Этот почти мгновенный переход от гибели зеленой игрушки к смерти хорошо знакомой собаки заставил ненадолго задуматься о бренности всяк сущего на земле. Да, – размышляя я, – игрушки и собаки не вечны. Но ведь не я? Не мама?..

Мое собственное будущее, будущее всех близких людей терялись в такой далекой мгле, что ими легко можно было пренебречь. Зато завтрашний день оказался горькой реальностью, а для нас, мальчишек – полным захватывающих при-

ключений. Как мы очутились в Рославле, на Смоленщине, только что отвоеванной у немцев, говорить не буду. Очутились, и все тут. К рассказу это отношения не имеет.

Жизнь в недавно освобожденном городе была полна сурпризов. Центральные улицы сплошь разбиты. Отовсюду торчали закопченные развалины. Стоило отойти на километр, вступить в лес и забраться в Орошенный дот, залезть в оплывающий окоп, и начинались бесценные находки. То это была настоящая солдатская фляжка, обтянутая зеленоватым шинельным сукном, то заскорюзлый подсумок с патронами.

Однажды мы набрали на целехонькую пушку, поодаль разбитый ящик снарядов, – хоть сейчас заряжай и стреляй. В другой раз мы повстречали рыжую лису: она что-то торопливо жевала под деревом, то и дело на нас оглядываясь. Мы подошли поближе, и лисица от нас побежала, унося в зубах отъеденную голову зайца. Тушку она оставила тут же, под деревом, тельце было еще теплым, только без головы. Я замучился тащить зайца домой. Не хотелось бросать такую ценность – шел сорок четвертый год.

Самой ценной находкой была короткая шпага. Или длинный штык. Штык – потому, что трехгранный. Шпага – потому, что в лакированных ножнах, с красивым эфесом и девизом, выгравированном на клинке. Мама сказала, что написано по-французски, что-то насчет службы и долга какого-то графа. Как этот граф затесался в блиндаж под Смоленском, никак в толк не возьму.

Мы находили, правда, не каждый день, иноземные деньги и ордена, ножи и кинжалы, электрофонарики со сменными цветными стеклами. Пистолет «ТТ» с полной обоймой стоил восемь школьных тетрадок, – вот какое было раздольное времечко для мальчишек!

Как-то я набрал на целую гору немецких брикетов непонятного назначения. «Ташенвармфляше» было напечатано под орлом со свастикой. Я напрягся и с трудом перевел – карманная фляга для тепла. Карманная грелка по-нашему. Рядом была огромная воронка или маленький пруд, наполненный

талой водой. Я попробовал залить воду в брикет, куда лить показывала стрела на рисунке. Брикет зашипел и стал быстро греться. Я с перепугу зашвырнул его в пруд, он долго пускал пузыри. На берег осторожно вылезла зеленая лягушка, не такого пронзительного колера, как та, из целлулоида, но все же свеженькой болотистой расцветки. Горло ее то раздувалось, то опадало, будто за нею долго гнались.

Спроси тогда, зачем я сварил, потравил немецкой химией этих бедолаг, я бы не задумываясь ответил: а чего они?.. Дальше не находилось вразумительного ответа. А чего они такие зеленые? Или не такие зеленые? Или пучеглазые? Аргумента в пользу массовой казни я придумать не мог. На то они и лягушки, чтобы быть пучеглазыми...

Именно этой популяции земноводных исключительно не повезло. Случайно в это место угодила здоровенная бомба, случайно здесь немцы бросили груды химических грелок и, наконец, совершенно случайно сюда забрел Я – Исполняющий Обязанности Лягушачьего Демиурга. Совпадение трех этих случайностей выпало трагической закономерностью для всей популяции. Вот единственное объяснение массовой гибели местных квакш.

Слухи об этом тотальном аутодафе дошли до ребят нашего класса. Меня из Шкилета переименовали в Лягушачью Погибель, потом в Лягушачью Чуму и, наконец, просто в Чуму. Под этой кличкой я вернулся в родной Ленинград.

Ну какой из меня Чума! Сохранился снимок тех лет: вихрастый мальчишка в вельветовой курточке. Я вишу на подножке трамвайного вагона и чему-то смеюсь, в лицо бьют солнце и весенний ветер. Фото сделано с трамвайной площадки на полном ходу. Снимал Владька Карпович. Мы мучаемся за одной партией, вместе хватаем унылые тройки, вместе рвемся из школьных стен на шумный Владимирский, на Невский, полный трамвайного лязга и вечно спящих людей. Он тоже томится неволей, орел молодой.

Владьке никак не дается ленинградский выговор. Он произносит «хвотограхвия» и «счюка» вместо фотографии и

щуки, причем пишет эти слова без ошибок. Такой уж у него акцент. Сам-то Карпович из Белоруссии, их витебскую квартиру разбомбило.

Владьке можно было довериться в чем угодно. В этом я убедился, когда он показал портрет Кирова, напечатанный на обложке тетради и вымолвил, давась мерзким смешком:

– Прочти наоборот!

Прочитанное настолько не вязалось с обликом ближайшего соратника Сталина, пламенного трибуна революции, что я ошалел. Никакой он не вождь, а просто ворик. Не воруга и даже не воришка, а маленький, должно быть, жалкий незадачливый ворик – вот что следовало из владькиного открытия. Мы немедленно стали вспоминать фамилии других вождей, но Киров был уникален.

В нашем классе было тридцать ребят, тридцать биографий, более или менее одинаково подстриженных и уравненных войной. Из всех трех десятков страшная контрреволюционная тайна объединила нас двоих. Впрочем, я подозревал, что были в классе и другие пары ребят, связанных такими же тайнами. Именно пары, втроем уже было опаснее. Это мы, ленинградские огольцы сороковых годов, хорошо понимали.

Думаю, что Карповича и меня сроднила общая ненависть к школьной казенщине и махровому верноподданничеству, насаждаемому где только можно. Эту ненависть мы неосознанно прятали, причем достаточно глубоко. Внешне мы оставались обыкновенными мальчишками из седьмого «А». Я, Эдька – Чума, совсем на чуму непохожий, и белобрысый ангелочек Владька Карпович, настолько тишайший, что к нему не цеплялось ни одно прозвище.

Но я слишком увлекся и чуть не забыл, что речь идет о лягушке, игравшей какую-то мистическую роль в том, что нас с Карповичем послали именно за лягушками в зоосад. Почему выбор пал на нас – неизвестно. Однако – послали. Учительница зоологии, Евдокуся, вручила Владику молочный бидон литра на два, мне – деньги и бумагу в бухгалтерию зоосада.

Училка сказала, что лягушки нужны к предстоящему уроку зоологии. С тем мы и уехали – почти через весь Проспект 25 Октября, – так в то время назывался Невский, к Петропавловской крепости, а там рядом был зоологический сад. Мы нашли бухгалтерию, она помещалась рядом с крокодилами. Ничего в них особенного, лежат себе неподвижно, как тощие бревна. Квакши, то есть, амфибии, жили поблизости, в террариуме. Их, оказывается, здесь нарочно разводили для цапель и змей, словом, тех, кто в них нуждался. Нуждались многие, поэтому дело было поставлено на широкую ногу.

Мы просунули в специально проделанное окошко бумагу и посудину, немного подождали, и бидон вернулся, отяжелевший и холодный, через то же окошко. Мы просили временно его оставить, чтобы погулять по зоосаду налегке, но нам сурово отказали.

Так что пришлось таскаться с этим бидоном, пока сад не начал закрываться. Когда мы вернулись, нас встретила гардеробщица, по-старому – техничка, дала ключ от учительской и велела оставить там бидон. Так мы и сделали. Оба были очень довольны проведенным днем.

Утром меня встретила разъяренная Евдокуся, молча потащила в учительскую:

— Хулиган! – гремела она, тряся меня так, что чуть не отрывалась голова. – Кто открыл крышку бидона? Кто распустил лягушек? Отвечай!

В те же минуты и тем же манером в кабинете директора велся допрос Карповича. Находясь в разных пыточных камерах, мы молчали, как партизаны. Мы не вытаскивали крышку бидона. Мы не выпускали лягушек. Мы честно оставили бидон закрытым и учительскую заперли на ключ. Лягушки сами вышибли крышку, повыпрыгивали наружу и расползлись по комнате.

Долго пришлось нам ловить этих тварей, попрятавшихся по углам. Где-то в середине урока, полупрощенные, мы были отпущены в класс. Я зажмурил глаза, пытаюсь представить, что должна чувствовать лягушка, сидя в тесном алюминиевом

бидончике. Со всех сторон другие лягушки и жуткая темнота. Там, в зоосаде хоть тусклые огни фонарей, хоть слабый отсвет дрожит в воде аквариума, а тут – ни зги. И ужас ожидания какого-то большого, неведомого, непоправимого несчастья. Я барахтаюсь, что есть силы, лапки то и дело соскальзывают со спин других лягушек, пока не упираюсь теменем в дно крышки. Еще прыжок, еще судорога, и крышка слетает, звеня о бидон, и я снова дышу кислородом Вселенной. А там пусть будет, что будет...

Назавтра был урок зоологии. С этими нашими земноводными. Сначала дежурный разнес по гладко выструганной дощечке. Потом отсчитал по четыре конторских кнопки. Затем выдал по половинке писки – лезвия использованной безопасной бритвы. Засунутые в щели парты, осколки лезвий тренькали и дребезжали, хоть устраивай целый концерт. Писками расписывалась шпана кровью на физиономиях своих оппонентов, потому-то такое название – писка.

Получив кнопки и писки, мы внутренне съежились, у меня захолодало в желудке. Стало быть, мы должны расписать этих лягушек? Но мы знали об этом еще тогда, в зоосаде. Мы оба как бы держали уговор молчания. Пусть будет, что будет.

Меж тем, приступили к раздаче лягушек. Нам с Карповичем достался какой-то полудохлый, не очень крупный экземпляр с коричневыми разводами на спинке. Земноводное, однако, еще дышало, это было видно по пульсирующему горлу.

– Прикнопьте препарат кнопками к препаратной доске, – сказала Евдокуся особым преподавательским голосом и показала, как это делается. Распята на доске лягушка выглядела несоразмерно длинной. Я поглядел на Владика, Владик поглядел на меня, в глазах его мелькнуло что-то дикое, он вскочил и заорал, срываясь на вой:

– Вор-рики! Счююка бесхвостая! Укуушууу!

Я же схватил препарат и метнул, куда попало. Попало в корову, в муляж из папье-маше. Корова – муляж покачалась на шкафу и посыпалась на пол составляющими частями. От-

дельно мясо, отдельно печень, долго не могло успокоиться червовое сердце, вертясь волчком на скользком паркете.

Класс замер, молча созерцая гибель муляжной коровы. Оцепенела и Евдокуся, она стояла, как памятник педагогике и прижимала к своей учительской кофточке дощечку с приключенной лягушкой. Внезапно картина ожила, сдвинулась с места, раздался разбойничий клич: «Бей! Круши!».

В воздухе замелькали дневники, тетради, пыльные чучела ворон и синиц, глухарей и куропаток, портфели, макеты зайцев, русака и беляка. В считанные минуты кабинет был разгромлен. С рожка люстры свешивалась бесхвостая лиса, хвост повис отдельно, зацепился за картинку с мамонтом. Мамонт, побиваемый камнями, видимо, тогда еще не знал, что станет прародителем слонов, верных вьючных животных России.

Дальше неинтересно. Маразм крепчал. Мы с Карповичем пересели на класс ниже, потеряли на этом целый год. Хотели выгнать совсем, но, говорят, за нас костыми легла Мария Ивановна, старая учительница литературы. Вот ее-то потом и выгнали – она тайно ходила в церковь молиться Богу.

Я не знаю, действовал ли официально такой вид казни, как перевод классом ниже, чуть ли не с публичным сожжением ученического билета и с преломлением вставочки над головой. Скорее, то была местная самодеятельность, иезуитская подлость директора.

Я, понимаете, «не дорос до понимания важности значения предмета зоологии как науки», а Карпович, дескать, «слишком медленно вживается в жизнь столичного Ленинграда». Все это было чистейшим враньем. Я в то время, к примеру, читал дневники императрицы Екатерины Великой, мне ли не понимать значения предмета науки. И, главное, чувствовал я, как не надо этот предмет изучать...

Внятно выразить все это я тогда не умел. Источником всех обид и невзгод проступала тень мстительной квакши.

Неужто и впрямь сидит где-то в высях венценосная лягушка, небрежно поигрывая нашей судьбой?..

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Наталья Менчинская

Сестры Изергины*

Я знала об «аргонавтах» с младенчества, но для меня они были в первую очередь не героями древнегреческого мифа, а живыми людьми, друзьями юности моей мамы, Натальи Менчинской. Позже я поняла, почему они так себя называли – в двадцать первом году, в Крыму, когда образовалось их общество, они были еще детьми шестнадцати–семнадцати лет – романтически настроенными, полными надежд, мечтающими найти «золотое руно», то есть нечто самое главное в жизни.

То, что все они без исключения были личностями необыкновенно одаренными, творческими, я в детстве оценить в полной мере, конечно, не могла. Но то, что они любили веселье, шутку, игру, позволяло мне чувствовать себя среди них вполне естественно.

Скучно с ними мне не было никогда, ни в детстве, ни в юности. Я любила «аргонавтов», восхищалась ими и даже немного завидовала, – во времена моей юности не было таких компаний, такой бескорыстной и высокой дружбы. Эти люди явно принадлежали другому времени, несли в себе иную культуру.

* Данная публикация составлена автором на основе материалов ее книги «Крымские аргонавты XX века», М. 2003. – Н. М.

Моя мама была одним из самых активных «аргонавтов». Думаю, так было и в двадцатые годы в Симферополе, и в Москве, уже на моей памяти, когда по несколько раз в год они собирались именно у нас. Я всегда предпочитала их обществу сверстников, во всяком случае, в мои школьные годы. Однажды, когда мне было лет тринадцать-четырнадцать, я попросила родителей отметить мой день рождения таким образом: пригласить «аргонавтов», не открывая им повода. Только в конце вечера родители проговорились, и гости были очень смущены, что не поздравили меня и пришли без подарка, для меня же их приход и был самым лучшим подарком.

Мария Николаевна и Антонина Николаевна Изергины – а для друзей-«аргонавтов» просто Муся и Тотя – были наиболее близкие нашей семье члены кружка, оказавшие существенное влияние на мою жизнь. Я помню их с раннего детства. В Москве Тотя бывала чаще, Муся – реже, что неудивительно – ведь Тотя жила тогда в Ленинграде, а Муся в Алма-Ате.

В те годы они производили на меня сходное впечатление: женщин уверенных в себе, резковатых и никогда не снисходящих до общения со мной. Обе были остроумны, талантливы, необычайно привлекательны.

В пятьдесят шестом году Мария Николаевна построила дом в Коктебеле, который привлек к себе и «аргонавтов», и множество представителей творческой и научной интеллигенции из Москвы, Ленинграда, Киева, Алма-Аты и других городов. Со времени возникновения дома я бывала в нем, за редким исключением, ежегодно – сначала с родителями, а потом одна или с друзьями.

Именно Мария Николаевна больше, чем кто-либо другой, донесла до меня дух свободного и радостного творчества, артистизма, даже озорства, который был присущ всем «аргонавтам» без исключения и обозначался термином «аргонавтизм».

Как возникла компания «аргонавтов»

Будущие «аргонавты» встретились в Симферополе в двадцать первом году. Почти все они были студентами Таврического университета, открывшегося в Симферополе в восемнадцатом и существовавшего около шести лет – в то трудное и нестабильное время, когда власть в Крыму неоднократно переходила из рук в руки, когда там царили разруха и террор.

Однако именно в эти голодные, трагические годы в стенах Таврического университета собрался такой состав преподавателей, какого в России того времени не было ни в одном учебном заведении. Эта уникальная концентрация блестящих научных сил объяснялась просто: спасаясь от гражданской войны, разрухи и голода, в Крым съехался цвет российской интеллигенции. Здесь были не только ученые, но и врачи, писатели, артисты, музыканты.

Среди студентов было много одаренной молодежи из интеллигентных семей, в том числе – из семей профессоров университета. Многие из тех, кто имел склонность к сочинительству, философии, музыке, драматическому искусству, – вошли в компанию «аргонавтов». Поначалу это был кружок литературно-драматического направления.

Поначалу все выглядело очень серьезно. В аудиториях университета проводились доклады членов кружка о современной и классической литературе, поэзии, драматургии, обсуждались философские проблемы, устраивались диспуты.

Это происходило осенью двадцать первого года и зимой. Но с приближением весны и по мере того, как молодые люди все более сближались, серьезные занятия уступали место радостной и талантливой игре, дурачествам, розыгрышам.

Начали собираться в Салгирском саду в полуразрушенном Воронцовском дворце. Придумали ритуал посвящения в «аргонавты», напоминавший прием в масонскую ложу: там были и святающиеся черепа, и инквизиция, и некто, пронзенный кинжалом, падал замертво. Мама рассказывала, что для создания эффекта свечения в темноте они достали фосфор.

Однажды на ней даже загорелась одежда, вымазанная фосфором, – к счастью, все кончилось благополучно.

Летом «аргонавты» совершали многодневные походы по Крыму. Они были веселыми, беззаботными и ничего не боялись, кроме свирепых кавказских овчарок, охранявших стада овец. Ночевали иногда под открытым небом, а чаще – у татар, в те времена вполне дружелюбных; питались хлебом, фруктами, виноградом, вином, купленными у них же. Были среди них любители лазать по отвесным скалам. К ним принадлежали отчаянные сестры Изергины. Тотя впоследствии стала альпинисткой.

Больше всего времени «аргонавты» посвящали постановкам оперетт и спектаклей, ведь кружок изначально создавался как литературно-драматический. В мамином архиве мной была найдена полуфантастическая пьеса в стихах, которая дает некоторое представление о театральных опытах. Действующие лица появлялись в пьесе под своими собственными именами, и в перипетиях пьесы, судя по всему, находили отражение их реальные взаимоотношения.

В пьесе упоминались «лучи», или некое «искусственное солнце», – это те самые митогенетические лучи, которые изобрел профессор Таврического университета Гурвич, – УФ-излучение, воздействующее на процесс деления клеток. Именно он был прообразом профессора Персикова в «Собачем сердце» Михаила Булгакова. Экспериментами с этими лучами занимались в лаборатории Гурвича многие из «аргонавтов»-биологов.

В компанию входили, насколько мне известно, двадцать пять человек, и просуществовала она, казалось бы, недолго: после восстановления мирной жизни московские и петербургские семьи постепенно стали возвращаться в свои города. Конечно, не случилось этого, все «аргонавты», как выразилась одна из них, «сели бы как миленькие».

Но судьба их хранила. Большинство «аргонавтов» прожили достойную жизнь, став крупными учеными и специалистами в разных областях, несмотря на то, что они испыта-

ли на себе все тяготы последующих страшных лет русской истории.

Самое удивительное, что компания «аргонавтов» не прекратила своего существования после того, как члены кружка разъехались. Связь между ними не прервалась, она продолжалась всю их жизнь, у многих – очень долгою...

Детство и юность Муси и Тоти

Будущие «аргонавты» попали в Крым разными путями: семьи одних бежали из северных столиц после революции, другие приехали в Крым еще до этих событий и не смогли выбраться, третьи были издавна связаны с Крымом. О том, как оказались в Крыму сестры Изергины, о их родителях и некоторых детских впечатлениях я кое-что знаю из рассказов Марии Николаевны, которые были втайне от нее записаны на диктофон.

В детстве Муся – девятьсот четвертого года рождения и Тотя – на два года моложе, жили с родителями в Петербурге, а летом – в отцовском имении Палагино под Тверью. Отец их был светский, блестящий человек, очень остроумный, юрист по образованию, но картежник. Из-за этого материальное положение семьи было неустойчивым, и квартиры в Петербурге приходилось менять: когда отец был в выигрыше, жили в хорошей квартире, когда проигрывался, приходилось переселиться в более скромную.

Мать Муси и Тоти была красивой, музыкально образованной, милой и сдержанной женщиной, никогда не упрекавшей мужа при детях за его проигрыши. Ее звали Мария Таунлей. Ее дед – англичанин – попал в Россию мальчиком, довольно необычным образом. Его, вместе с сестрой, спасли с терпящего бедствие английского корабля, кажется, у берегов Крыма. В судьбе его принял участие сам император Александр II. Мальчика отдали в кадетский корпус, и он остался в России, так как его родители погибли во время кораблекрушения.

Девочки жили достаточно уединенной, замкнутой, но насыщенной жизнью. Они были близки друг другу и не нуждались в чем-либо обществе. Играли они нетрадиционно. Мария Николаевна рассказывала:

«У нас странные игры были. Например, мы играли в «карандаши» – это была целая история. Мы, конечно, рисовали, раскрашивали, но не это было главное. Каждый цвет у нас что-то обозначал. Желтый – была учительница, бежевый – слуга. У нас бежевый цвет долго назывался «цветом слуги». Синяя была я, красная – Тотя, а черный был масон, мы вечно о масонах говорили. Перочинный нож был хороший врач, а точилка – врач-масонка. Когда мы рисовали, то почему-то надевали тубетейки. Они у нас назывались шапки-труженицы. С карандашами были сложные коллизии.

И потом карты. У нас же в доме играли в преферанс, а в приличных домах каждый раз распечатывали новую колоду, а старые отдавали нам, поэтому у нас была куча карт. Пики были Тотины, черви – мои. Были карты для бедных, были для голых-бедных. Для этих предназначалась колода, которая состояла из десятков пик и короля бубен – больше там ничего не было»*.

Девочки были живые, умные, в гости ходить не любили, особенно на детские балы к богатым родственникам, куда надо было надевать красивые платья. «Мы это ненавидели! У нас игра про масонов, а тут надо все бросать и идти», – вспоминала Мария Николаевна.

Во многом сестры отличались: Муся была менее влюбчивой – Тотя всегда влюблялась в своих учителей; Муся не любила играть в куклы – Тотя, наоборот, «когда вышла замуж, еще у нее сидела кукла»; Муся не сочиняла стихов, но была более музыкальна, – Тотя лет в шесть начала сочинять стихи с захватывающим сюжетом и почему-то от лица мужчины:

* Здесь и далее, цитируя М.Н. Изергину, я пользуюсь расшифровкой записей на магнитофонных пленках. Записи сделаны Катей Голицыной в конце 1980-х годов. – Н. М.

*Я спал и видел сон любви,
 Когда во сне ко мне явилась
 Возлюбленная – вся в крови....
 В волненьи под подушкой рою, –
 И вдруг, о счастье! Пристолет!
 (от слова «пристрелить»?)
 Схватив его, я расстрелился.*

Эти стихи Мария Николаевна не раз цитировала, вспоминая Тотю. Рассказывала она и о том, что Тотя была очень вредной девчонкой, несмотря на ангельское обличье. Например, она могла забраться на дерево, спрятаться в его ветвях и, дождавшись, когда под деревом ее молодая тетка Лиза встретится со своим поклонником, написать им на головы.

Во время беседы в конце восьмидесятых на вопрос, кем Мария Николаевна хотела быть в детстве, она отвечала: «Кучером! Я хотела быть только кучером. Мечтала! Меня очень много возили работники в нашем имении на лошади. Я любила лошадей страшно. Кучером быть! Я раза два правила тройкой и, когда держишь коренника крепко, а пристяжных по одной склейке так, чтобы они отворачивали головы, – Боже, какое наслаждение и какая гордость! Больше ничего не хотела».

Девочки любили свое небольшое имение, «запущенный ягодный сад», однако за год до революции его пришлось продать, чтобы расплатиться с карточными долгами отца. Оставшиеся деньги положили в банк, там они и пропали. Далее вновь привожу фрагмент рассказа Марии Николаевны:

«Отец поехал по разным губерниям «внедрять правовые акты», а нас отвезли в имение его двоюродного брата в Крыму – Сюрень. Тот тоже был картежник и имение продал – две тысячи десятин. Его очень татары уважали. Он был нотариус и помогал им составлять различные письма и жалобы. Слух об этом дошел даже до теперешних татар, они до сих пор вспоминают о нем уважительно.

А с дядиным братом был такой случай. Во время гражданской войны он пошел добровольцем в армию, но человек

был совсем не военный. Как-то во время увольнительной он гулял по Симферополю. Увидев генерала, он вспомнил, что должен сделать что-то почтительное, но не помнил, что конкретно, и вместо того чтобы отдать честь, перекрестился на генерала. Ну и, конечно, был посажен на гауптвахту».

Так в семнадцатом Муся и Тотя с матерью попали в Симферополь. Мать давала уроки музыки, девочки учились в гимназии. Обе были очень хороши собой, но по-разному: Муся более мягкая, женственная; о Тоте же так и хочется сказать – «чертовски хороша». В ней действительно присутствовала какая-то чертовщинка. Не зря Арнольд Лескес – как говорила Мария Николаевна, «самый умный из «аргонавтов», – написал о ней следующие строки:

*«Девчонка бешеных страстей» –
Пророчески сказал поэт о ней,
Но он ещё не видел Антонины,
Её лица, её волшебных чар,
Где съединилась нежность неньюфар*
С душою – дьявольски змеиной.
Я – очевидец, грешный раб господний,
Глаголю: «Се есть демон преисподней!»*

В двадцать первом году Муся окончила гимназию и поступила на историческое отделение Таврического университета. Однако спустя некоторое время в университете устроили «чистку» и всех лиц дворянского происхождения из университета отчислили с формулировкой «за психологическую чуждость».

В связи с этим она вспоминала один эпизод. Когда на общем собрании было оглашено решение об исключении Муси и нескольких из ее друзей-«аргонавтов» из университета, она тут же встала и громко сказала, обращаясь к сидевшему рядом Жоржу Нецкому: «Пойдемте, Жорж, здесь так дурно пахнет!»

* Кувшинки (фр.).

Во время этой «чистки» пострадали многие из «аргонавтов», – в частности, Наташа Менчинская, которой впоследствии удалось восстановиться. Муся же восстанавливаться не стала – к тому времени, как дошли до средних веков, история ей наскучила, и она поступила в консерваторию по классу пения, – у нее было меццо-сопрано.

Наталья Белоусова, дочь профессора Александра Гурвича, самая юная из «аргонавтов», скончавшаяся совсем недавно на сто втором году жизни, рассказывала мне о юных сестрах Изергиных следующее:

«Муся Изергина была музыкальна, прелестно пела высоким, чуть стеклянным голосом. И учились мы с ней у толстой почтенной преподавательницы Светловской, в свое время – несостоявшейся певицы. Тоненькая и быстрая, с красивыми голубыми глазами и вздернутым носом, она была шумная, смешная, экстравагантная, любила парадоксы и поступки в речах. Тотя с ее тонким профилем камеи – блистательна, красива, умна, остроумна и... беспощадна. Это все осталось в ней до конца жизни. Муся была человечнее. Тотя была немного жестока даже по отношению к близким друзьям».

Конечно, среди молодых людей, проводящих вместе досуг на фоне благословенной крымской природы, не могло не возникнуть влюбленностей и романов. Какие-то из романов завершились браками, ранними и, может быть поэтому, неустойчивыми. Так, Муся Изергина вышла замуж за одного из основателей кружка Шуру Редько, главного героя всех «аргонавтических» спектаклей. Он был красив, артистичен, добр, но Муся, как она говорила впоследствии, его не любила, и уступила его уговорам после тяжелой болезни, когда у нее не было сил сопротивляться.

Тотя вышла замуж за Костю Шейдта, а полностью – барона Шейдта фон Дитерлоо, когда ей было лет семнадцать, да и ему не намного больше. Внешне Костя был очень приятным молодым человеком: высоким, стройным, немного близоруким. Он был умен, интеллигентен, ироничен, сочинял остроумные эпиграммы и участвовал в театральных постановках «аргонавтов».

Во время процедуры посвящения в «общество аргонавтов» он исполнял роль «Великого Инквизитора». Думаю, такая ответственная роль ему была поручена не случайно. Очевидно, он был человеком незаурядным – иначе он не смог бы покорить Тотю – «девчонку бешеных страстей». Костя учился в университете на медицинском факультете, впоследствии он стал химиком. Не знаю, был ли он исключен из университета вместе с другими «аргонавтами» дворянского происхождения, но он уехал из Симферополя одним из первых, вслед за Тотей.

Жизнь Кости сложилась трагически. Тотя его довольно скоро бросила, увлекшись искусствоведом Николаем Пуниным, своим учителем. Позже, в тридцатые, Шейдт сгинул в сталинских лагерях. Возможно поэтому, групповую фотографию, на которой среди шестнадцати «аргонавтов» есть и Костя Шейдт, я увидела впервые только в восьмидесятые годы, хотя другие снимки «аргонавтов» мне были с детства хорошо известны.

По-видимому, эта фотография была спрятана где-то далеко и сохранилась лишь у немногих. А ведь такая фотография, по словам мамы, была у всех, кто на ней запечатлен.

На обороте этой фотографии – две надписи: внизу: «Аргонавты. Январь 1923 г.» – дата, когда была сделана фотография; и сверху: «Симферополь. 1930 г. 20 августа. На бульваре у памятника. 12 ч. дня (по солнцу)»: это дата и место предполагаемой встречи через шесть с половиной лет...

Двадцатого августа тридцатого года к памятнику пришел только один человек – Наташа Менчинская. В это время в Симферополе никого из «аргонавтов» уже не осталось...

«Аргонавты» и Волошин

Вся молодежь из интеллигентных семей Симферополя в восемнадцатом–двадцать первом годах бывала на лекциях и поэтических вечерах Максимилиана Волошина, поэтому многие из будущих «аргонавтов» познакомились с ним задолго

до образования кружка. Еще раньше они были знакомы с его стихами, которые печатались в журналах, антологиях, альманахах, выходили отдельными поэтическими сборниками. Не исключено, что кружок организовывался с его ведома и одобрения.

Волошин любил веселые творческие сообщества, подобные тем, что собирались в его коктебельском доме, поэтому наверняка должен был приветствовать компанию «аргонавтов». Близок ему был и романтический, возвышенный строй самой идеи «аргонавтизма».

Многие из «аргонавтов» знали Волошина лично, в частности, сестры Изергины. Мария Николаевна оставила небольшие, но живые воспоминания о нем, которые я процитирую ниже почти целиком.

О поэтических вечерах и лекциях Волошина вспоминали многие из «аргонавтов». Кроме Изергиной, оставили интересные воспоминания о нем поэт и переводчик Надежда Рыкова и скульптор Ариадна Арендт. В ту пору они были молоды – старшей, Надежде, было всего семнадцать лет. Неожиданные, парадоксальные идеи Волошина, его стихи были одним из факторов, формирующих их мировоззрение, поэтому впечатления от услышанного остались на всю жизнь.

Надежда Рыкова – человек, интересующийся поэзией и политикой, – так описывает вечер Волошина на фоне послереволюционной обстановки в Крыму:

«Первая моя встреча с Максимилианом Александровичем – если это можно назвать встречей: я ведь тогда с ним не познакомилась, произошла в декабре восемнадцатого в Симферополе. Крым тогда был в полосе гражданской войны. Немецкие оккупанты недавно ушли, но советская власть еще не установилась. Крымом управляло «краевое правительство», в которое входили по преимуществу разные местные деятели, но Симферополь превратился в своего рода «культурный центр», где было много беженцев с севера – ученых, писателей, артистов.

Какие-то общественные организации устроили вечер Волошина. Он читал свои стихи – те, из которых составились

«Демоны глухонемые», а также два произведения, о которых мы знали только понаслышке: «Двенадцать» и «Скифы» Александра Блока.

Кроме того, он говорил. Говорил о культурной жизни Петрограда и Москвы, о революции и интеллигенции, о России, ее трагедии и ее судьбах, – словом, обо всем, что было тогда для нас самым главным. Мне же лично, при тогдашнем моем умонастроении, слова и стихи Волошина были, вероятно, тем, чем могли быть для людей древней Европы песни их аэдов, филов и скальдов, – вещанием; вот было что-то пережито, выстрадано, что-то угадывалось, в чем-то хотелось увидеть смысл и значение, и пришел поэт, который дал вещам, событиям и обстоятельствам имена, осмыслил их, обозначил.

Дело было не в конкретном содержании мыслей, которые высказывал Максимилиан Волошин. И при тогдашней моей восторженности я видела, что многие из них – поэтическая утопия, а не практический выход. Но эти мысли, а особенно стихи – «Святая Русь», «Стенькин суд», «Demetrius Imperator», «Ангел Времен», сонеты о французской революции, с их густой и терпкой образностью, с невероятной остротой и убеждающей наглядностью того, что можно назвать поэтическими формулировками, – тревожили, соблазняли, укрепляли в ненависти и в любви к тому, что было любимо и ненавистно, а главное, доказывали, что жить можно и нужно, что где беды, там и победы, что все поправимо.

Я говорю только о своем ощущении, притом – тогдашнем – мне было семнадцать лет, а вовсе не даю так называемого «объективного» анализа – бог с ним, с анализом.

В те времена я писала стихи. Волошин надолго подчинил меня своему влиянию, своей манере, – именно манере, потому что «идеи»-то у меня были не волошинские: в моем «поэтическом видении» России и революции все было элементарнее, уже – и увы! – гораздо менее великодушно*.

* Здесь и далее – Н.Я. Рыкова. Мои встречи // Воспоминания о Максимилиане Волошине. – Н. М.

Марии Изергиной, склонной к философским обобщениям, запомнилось другое:

«Помню очень хорошо лекцию о «прыжке из царства необходимости в царство свободы». Это была одна из самых блестящих лекций по диалектике, какую я когда-либо слышала. Он считал, что как некогда качественно из обезьяны выкристаллизовался человек, приобретая количественно много разумных действий, так, со временем, человек, накапливая в свободном обществе высшие духовные качества, разовьется в новую высшую расу, для которой высшие этические и эстетические законы будут присущи как норма. Эстетику Макс никогда не забывал и считал, что высший духовный мир без красоты невозможен, что понятия о красоте могут меняться в разные эпохи, но сам эстетический комплекс присущ человеку вечно [...]

Шла гражданская война, в Крыму очень ожесточенная. Макс, как историк, относился ко всему с огромным интересом. История творилась у него на глазах. Я, к сожалению, тогда была слишком молода, чтобы вступать с ним в серьезные разговоры, но, сопоставляя по памяти его высказывания, его стихи, а потом, уже после победы советской власти, его лекции – тогда я уже была старше, – я все же представляю и, как мне кажется, могу судить о его настроениях.

Он всегда считал, что борьба является неким сплавом между врагами, и, может, не желая этого, они, соприкасаясь, чем-то обмениваются и одаривают друг друга. Он с превеликим интересом наблюдал парадоксальные противоречия жизни того времени, очень увлекался творчеством, возникавшим в народе»*.

Ариадна Арентдт, которую занимали общечеловеческие проблемы, вопросы веры, вспоминала о лекциях Волошина следующее:

* Здесь и далее – М. Изергина. В те годы // Воспоминания о Максимилиане Волошине. – *Н. М.*

«Макс прочел несколько публичных лекций. Одна из них, очень необычная, была о голоде. Я на ней не присутствовала, но пересказ ее слышала от Макса у нас дома. Это было нечто, как у нас это называлось, «с расширенной точки зрения». Макс делал обзор различных взглядов на людоедство. У некоторых народностей считалось, что съесть человека – значит усвоить его ум. Поэтому они стремились съесть умных врагов.

Наше тело, говорил Макс, строится из материала, который мы употребляем в пищу. К пище следует относиться серьезно, настраиваться внутренне для ее восприятия, что особенно важно в голодное время, когда ее не хватает. Надо стараться усвоить всю «прану», заключенную в пище – этом даре, который мы с благодарностью принимаем. Можно насытиться гораздо меньшим количеством пищи, чем это принято, если серьезно и прочувствованно пережевывать ее.

Он говорил об испытании, посланном нашему народу накануне перехода в другую эру. Сильные духом его выдержат. Мы должны бодро и радостно переносить испытания, и, чем они труднее, тем мы – достойнее, так как на каждого возлагается испытание по его силам.

Излишки, если они есть, надо отдавать другим, но не следует отдавать всего, так как, оставшись нищими, мы ничего не изменим, но будем тоже нуждаться в чьей-либо помощи. Не следует до конца исчерпывать «источник». Можно оказаться на грани голодной смерти, но не следует этого бояться. Если поделишься пищей с голодным, непременно получишь откуда-то, может быть, просто найдешь на земле. Например, можно употреблять в пищу растения, которые обычно считают несъедобными.

О гостеприимстве Макс сказал, что необходимо давать людям возможность проявить это естественное чувство – насытить алчущего и жаждущего. Этим гость не наносит хозяину ущерба, но, наоборот, обогащает его, так как гораздо больше пользы и удовольствия – накормить кого-то, чем быть сытым самому.

Чувство собственности нас закабальет и делает рабом вещей.

*Мы отдали, и этим мы богаты,
Но мы рабы того, что жаль отдать.*

Максимилиан Александрович рассказал, что после одной лекции и чтения стихов вышел какой-то оратор и воскликнул:

– Я вижу, что ни одна из партий не права, правы только вы, ведите меня куда хотите!

На одном из таких выступлений была и я. Помню, какое сильное впечатление произвело оно на сидящих в зале. Все были зачарованы и слушали, затаив дыхание. Макс читал стоя, опершись на спинку стула, своим ровным отчетливым голосом, отчеканивая каждое слово, почти монотонно. Каждое слово было весомо, проникновенно, значительно, как внушение, повелительно, как приказ. Кто слышал этот голос, это чтение, – тому не забыть его никогда. Вот уже четверть века, как Макса нет с нами, а его голос звучит в моих ушах, как будто я слышала его вчера»*.

Помимо знакомства с Максимилианом Волошиным «на расстоянии», все авторы воспоминаний, цитируемых выше, были знакомы с ним лично. Личные контакты с этим поэтом, мудрецом и философом имели огромное значение для всех троих. Ярко запечатлелись в их памяти обстоятельства первой встречи с Волошиным.

Мария Николаевна вспоминала об этом следующее:

«В те годы [...] в Симферополе мы были очень близки с семьей Кедровых. [...] Это была очень талантливая семья. Три дочери в ней пели, танцевали, устраивали инсценировки [...]

Мы с сестрой тоже занимались инсценировками романсов Изы Кремер – очень модной тогда певицы всяких тан-

* Воспоминания А.Арендт были мне любезно предоставлены ее сыном Юрием Арендтом. – Н. М.

цев (танго) и шуточных куплетов. Старшая дочь Кедровых, Наташа, наша ровесница, смотря наши представления, всегда говорила:

- Надо, чтобы Макс посмотрел.
- А кто такой Макс?
- Макс чудный, он это любит.

Мы, две очень самоуверенные девчонки, относились к взрослым скептически и считали, что они ничего не понимают; поэтому к перспективе представления для Макса отнеслись равнодушно.

Как-то вечером у Кедровых нас познакомили с Максом. Нас удивила его необычная наружность. Плотный, широкий, с громадной, волнистой рыже-каштановой шевелюрой и бородой, он производил поначалу простоватое впечатление. Был похож на тогдашних кучеров. Еще удивляло на его крупночертном лице маленькое квадратное пенсне, какого никто не носил.

Мы начали свое представление, обычно сопровождаемое смехом и репликами зрителей, но Макс смотрел пристально своими серыми пронизательными глазами и был совершенно серьезен. Мы были озадачены. Помню, как пошли в соседнюю комнату переодеваться для следующего номера, и кто-то из нас сказал: «А знаешь – Макс умный». После этого мы к нему преисполнились уважением.

Уже после, когда я была в университете, Макс часто появлялся под нашим окном, приветствовал нас поднятием руки – и сразу все перерождалось. Появлялись люди, главным образом студенты; если была хорошая погода, то все отправлялись в наш сад, довольно большой, и там, сидя прямо на траве, начинали....

Начинали и продолжали, слушали, читали стихи свои и чужие: Блока, Гумилева, Анны Ахматовой. А наш сокурсник Илюша Казас, футурист, погибший потом на фронте, читал Бурлюка и Крученых. Макс читал много своих стихов, давал советы начинающим поэтам. Впрочем, я никогда не слышала с его стороны критики, он, в основном, хвалил и поощрял.

Волошин был в обращении внимателен, доброжелателен и приветлив, но никогда я не видела, чтоб кто-нибудь вел себя с ним фамильярно. Всегда между ним и собеседником была какая-то прозрачная, но ясно осязаемая перегородка. Какая-то у Макса была недоступность: какой-то «вещью в себе» был он. Может, это мне так казалось, так как я была молода и застенчива.

Хотя, по-моему, застенчивость не была среди моих добродетелей, но помню, что всегда при Максе хотелось вести себя сдержанно. Может быть, это происходило от того, что к Максиной приветливости примешивалась доля воспитанной любезности, которая отгораживала от назойливости и излишней откровенности [...]»

После первого знакомства, встречи сестер Изергиных с Волошиным продолжились. Бывая в Симферополе, он часто заходил в дом к их дяде, нотариусу, где по вечерам собирались и музицировали, а Волошин читал стихи. Бывал там и поэт Тихон Чурилин. Далее Мария Николаевна вспоминает:

«Мы жили тогда на бульваре Крым-Гирея (теперь – Франко), в особняке, до революции принадлежавшем полковнику Эммануэлю. Этот особняк во время гражданской войны кишел разным людом, как муравейник. Мы жили там в маленькой комнате вчетвером: мать, мы двое и наша тетка. Жили материально очень трудно.

Одну, парадную, комнату обычно реквизировали, а во времена белых там жил сын Эммануэля, высокий, мрачный молодой человек. Он был расстрелян красными, но, благодаря тому, что он был очень высок, пули попали ему ниже сердца, и он, выхоженный подобравшей его женщиной, выжил и впоследствии бежал с белыми. Во время же власти красных и после их окончательной победы эту комнату обычно реквизировала ЧК. Комната была большой и хорошей, и в ней проживали довольно высокие чины.

Эта комната была рядом с нашей и имела общую печь. Эта печь обычно отапливалась чекистами, так как у нас с дровами было не густо. Каждый зимний вечер очередной обладатель

комнаты топил печь; она топилась из коридора, и мы трое – я с сестрой и наша подруга, девицы-подростки, – тоже приходили туда погреться.

Общая беседа текла непринужденно, а потом, согревшись, мы отправлялись в комнату к товарищу из ЧК играть в дурака. Играли с большим азартом и весельем, никогда ни один из них не позволил себе никакой грубости, никакой пошлости, и отношения наши были чисто дружеские, хотя люди эти были совершенно простые, из рабочих и крестьянских семей. Макс, узнав об этом, пришел в совершенный восторг: он нас расспрашивал о всяких подробностях наших бесед, о темах разговоров и тому прочее.

Он считал, что это удивительно: такое непосредственное общение «страшных» чекистов и девочек хороших дворянских семей. Я помню даже, как Макс однажды, встретив нас и с другой стороны улицы приветствуя, как всегда, поднятием руки, громко прокричал: «Муся и Тотя, а как ваши чекисты?» Мимо идущие с некоторым недоуменным страхом воззрились на нас [...]»

В Коктебель, в Дом Волошина, сестры Изергины впервые попали весной двадцать первого года, вместе со своей теткой, художницей Елизаветой Антоновной Говоровой, которая была с Максимилианом Александровичем в дружеских отношениях.

Волошин убедил власти в необходимости соорудить монумент для симферопольского городского сада: «Рабочий, разбивающий цепи, оковывающие земной шар». Под предлогом того, что в Коктебеле прекрасная глина, он привез туда группу художников, дав им возможность получить паек и как-то выжить в это голодное время.

Таким же образом он спасал от голодной смерти детей священнослужителей – им пайков не полагалось, – при сооружении памятника их нанимали на подсобные работы. Путешествие сестер из Симферополя в Коктебель, куда они шли пешком сто девять верст, и жизнь в Коктебеле были очень тяжелы, к тому же девочки не получали пайка и голодали.

О пребывании в Доме Волошина в этот период рассказывала:

«В этот год Коктебель, несмотря на то, что в окрестных дачах на побережье жило много народа, домовладельцев, был совершенно пустынен. Хотя у Макса в доме жили художники и семья Кедровых, но все были разобщены: все держались за свои пайки, как бы кто-нибудь чего не съел. У Макса никто не собирался, тем более что Макс был болен. У него было что-то с ногами, и он ни разу не спускался вниз [...]

Моя тетка тогда потеряла мужа, умершего от болезни. Какой? Трудно в эти, еще страшные годы, установить – от какой. Она жила внизу, с маленькой грудной дочкой, в страшной тоске и отчаянии. К Максиму она часто поднималась, и они много и подолгу разговаривали. У них было много общих петербургских друзей и знакомых. По ее рассказам, Макс никогда не говорил ей ничего утешительного, наоборот, он говорил: «Je ne suis pas un consolateur»*, но, несмотря на это, она считала, что никто ей так не помог, как Макс».

Однако основное общение «аргонавтов» с Волошиным происходило в Коктебеле, который не раз выбирался конечной целью их крымских походов. Об одном из таких походов сохранилось особенно много воспоминаний. Его описание есть у всех трех рассказчиков. Это поход двадцать четвертого года. Особенно достоверными выглядят воспоминания Надежды Рыковой:

«В августе, когда я из симферопольской студентки превратилась уже в ленинградскую и проводила лето в Крыму, мне случилось попасть в Коктебель, на дачу Максимилиана Александровича. Из Симферополя в Коктебель наша компания частью пришла пешком через Караби-Яйлу, частью приехала через Феодосию. У М<аксимилиана> А<лександровича> на

* Я – не утешитель (франц.).

даче была пропасть народу – все из московско-ленинградских «высокоинтеллигентных верхов»: Брюсов, Андрей Белый, Леонид Гроссман, Мария Шкапская, Остроумова-Лебедева и еще многие другие.

Но крыша и подстилка нашлась и для нашей весьма горластой «банды» – большего нам в те годы и не требовалось. Все – и «верхи», и «низы» – одинаково гуляли, купались, загорали – даже обгорали, а по вечерам предавались духовным наслаждениям, выражавшимся в том, что кто-нибудь читал стихи (свои, конечно), а за ужином и после него заводились беседы и рассказы [...]

Максимилиан Волошин был удивительно радушный, заботливый и тактичный хозяин караван-сарая, где далеко не все гости из «верхов» симпатизировали друг другу. Если споры чрезмерно обострялись, он искусно вмешивался и «лил елей» – но так, что самого елая как-то не замечали, а заметен был только результат: всеобщее смягчение и успокоение.

Случилось, что один из таких споров произошел между мною – личностью, совершенно ничтожной по сравнению с высоким синклитом умов и дарований, собравшихся на даче Волошина, – и Андреем Белым (ни более, ни менее). Тема спора была (тоже – ни более, ни менее!): Россия и Запад.

К Андрею Белому у меня всегда было особое отношение. Мне его талант был, конечно, очевиден, многими его стихотворениями я восхищалась, но что-то в идеях Белого, в его задыхающейся, истерической – особенно в прозе манере казалось мне враждебным, неприемлемым. «...» Философствование Белого казалось мне в те времена тем самым, что Гумилев в «Огненном столпе» называл «многозначительными намеками на содержание выеденного яйца».

Раз вечером зашел на волошинской даче разговор о сравнительной ценности культур – русской и западной. Со всем пылом довольно самоуверенной и недостаточно «вооруженной знаниями» молодости я, убежденная – а в то время и

исступленная западница, ринулась в бой за металлическую и каменную культуру против деревянной, за сушь против сырости, за отмеривание и разграничение против безмерностей и безграничностей, за относительность против абсолютности и так далее и тому прочее.

Подробностей спора не помню. Крик стоял ужасный. Андрея Белого вывести из себя ничего не стоило. Дошло до того, что он сделал тактическую ошибку и принялся ораторствовать: «Девчонка! Доживите до моих лет, тогда будете разговаривать!» Этим тотчас же воспользовались две мои приятельницы, еще более юные, чем я, и к тому же принципиальные противницы всяких авторитетов, и тоже подняли крик: «У! Аргументы от возраста! Последнее дело! Позор!» (*Рыкова имеет в виду Мусю и Тотю Изергиных. – Н.М.*).

А тут еще подливал масла в огонь профессор Байков, который усиленно «подначивал» меня, приговаривая: «Правильно, верно говорите: куда там наши деревянные церквушки против ихних соборов, едешь-едешь – сотни верст одни болота да избы, какая уж тут культура!»

Максимилиан Александрович отнесся ко всему так, словно спор шел между вполне равными сторонами. Как легко было ему высмеять меня – и даже необходимо высмеять, а он начал лить свой елей обычным способом и на Белого, и на меня, и вскоре мы затихли [...]»

Надежда Януарьевна, по своему обыкновению, в воспоминаниях более точна, чем Мария Николаевна. Тем не менее, приведу отрывок из интервью журналиста Владимира Молчанова с Изергиной, которое вошло в его фильм «Холод жаркого Крыма», снятый в феврале девяносто третьего года. По ее интерпретации, в доме Волошина главной спорщицей была она:

«Как-то в двадцать четвертом году я покинула Коктебель с ужасным скандалом. Ну, это известно. Здесь была компания студентов. Были Андрей Белый, Брюсов, другие, и вышел скандал из-за русской культуры. Я тогда училась в Институте истории искусств, который был расположен в Ленинграде на

Исаакиевской площади. Я занималась романским искусством и выяснила, что у нас в Петербурге все городские украшения не каменные, а из известки. В общем, все налипное, – и презирала это.

И, сидя здесь за столом, где были и Брюсов, и Андрей Белый, и, конечно, Волошин, я почему-то заявила весьма безапелляционно, – чего бы я не сделала сейчас, – что русской культуры вообще нет. После чего все ужасно кричали, был ужасный скандал. Тогда я из Коктебеля уехала и появилась уже после войны [...]»

Думаю, в споре участвовали обе подруги, хотя Надежда Януарьевна, старшая и более эрудированная, конечно, лидировала. К тому же, она была хорошо осведомлена о прежних воззрениях Белого и Брюсова, которые с приходом новой власти основательно видоизменились, и, по словам Марии Николаевны, особенно возмутила их тем, что приводила цитаты из их же статей, написанных ранее.

В тридцатые-сороковые годы...

Немало «аргонавтов» попали в эти страшные годы «под колесо» репрессий. Погиб Константин Шейдт – барон фон Дитерлоо, были арестованы, а затем сосланы потомственный врач Михаил Дитерихс, биолог Фриц Безлер, исчез Арнольд Лескес. В удушливой атмосфере идеологического диктата не смог в полной мере выразиться талант первого мужа Ариадны Арендт – скульптора Меера Айзенштадта. Шесть лет пробыл в заключении ее второй муж – скульптор Анатолий Григорьев. Арестовывали, и не раз, Илью Казаса. Он погиб во время войны в штрафном батальоне, попав туда из заключения. Была в лагере и Надежда Рыкова.

На магнитофонной пленке сохранилась беседа Марии Николаевны Изергиной и Надежды Януарьевны Рыковой, состоявшаяся в сентябре девяносто первого года на веранде коктебельского дома Марии Николаевны – запись производилась без их ведома.

Надежда Януарьевна, с присущей ей ясностью мыслей и четкостью формулировок, описывает историю своих заблуждений, динамику развития своего отношения к власти и режиму. Ее рассказ особенно интересен потому, что все это в высшей степени типично для значительной части интеллигенции, в том числе и для ее друзей – «аргонавтов».

Начало беседы не относится к этой теме, но я хочу его привести с одной оговоркой: высказывания Марии Николаевны относительно негров следует воспринимать как артистический эпатаж, ничего общего с национализмом не имеющий.

Н.Я. – Считаю антисемитизм в лучшем случае проявлением идиотизма.

М.Н. – Надя, я, конечно, не понимаю в антисемитизме, но негров я не люблю. Как называются негры высокого роста?

Н.Я. – Сенегальцы. Мы выгрузились в аэропорту в Сенегале. Мимо проходили две восточные царицы. Они были в национальных костюмах, на них были ожерелья и подвески, но я сразу поняла, что это просто служащие аэропорта.

Наша проводница Фатима знала три европейских языка: французский, немецкий и английский. Она была очаровательна – совершенная француженка. Дома у нее говорили на двух языках. Я спросила, когда было лучше: при французах или сейчас. Она ответила, что родители говорили, что при французах – лучше.

М.Н. – Сенегальцы во время гражданской войны были в Одессе. Помню песенку. Поет:

*Девять месяцев спустя
Темнокожее дитя,
Ай-ай-ай, какой конфуз:
Папа – русский, сын – француз!*

Н.Я. – Красивые. Абсолютно черные, но европеоидные. В Эфиопии высший слой – семиты, двоюродные братья арабов

и евреев. Из этих – Пушкин, абхальского рода. Его деда похитили турки и продали русскому царю.

Был такой поэт – Эммануил Герман, у него стихи:

*И от этой царёвой забавы,
Как пожар от грошовой свечи,
Огневой, ослепительной славы
По векам пробежали лучи.
Острой рифмой тетрадь исцарапав, –
Как забыть этих строк кривизну?
Обогревшийся правнук арапов
Обессмертил чужую страну.*

Я помню, был позорный период в моей жизни, когда я, после великого международного кризиса двадцать девятого года уверовала в марксизм. Я до этого не верила. Но, когда произошел этот кризис, я уверовала. Надо учесть, что нам сильно засрали мозги.

Были три факта, которые сбили меня с толку, и за которые, я считаю, я ответила, когда я попала в лагерь. Там я сразу поняла истину. А до этого был период, когда я считала, что все очень плохо. И у нас очень плохо, и у нас ужасное государство, но, по-видимому, история складывается так, что без этого обойтись нельзя, и я уверовала в марксизм и постаралась изо всех сил найти общий язык с реальностью.

Надо сказать честно, что, помимо теоретических позиций, а они были определяющими, были еще два момента, которые нельзя сбрасывать со счета, то есть – мне хотелось участвовать в жизни и делать какую-то работу. Так как я в жизни глубочайший соглашатель, то я себе нашла путь: я избрала себе занятие западным искусством, культурой и так далее. Я стала писать вступительные статьи к тому, что переводилось, к западноевропейской классике.

Конечно, я там кривила душой, но немножко. Я сразу поняла, что чиновникам от литературы, которые управляют всем, нужны не ваши убеждения, а определенные заклинания

и формулировки, и вы можете ограничиваться небольшим количеством этих формулировок. И я писала о том, что мне было интересно, что меня увлекало.

Я написала книжку о современной французской литературе. Она якобы марксистская. Там очень много о символистской французской поэзии. У меня это сопровождается некоторыми формулировками относительно мелкобуржуазности.

Всегда есть такая отписка, что человек не преодолел некоторых предрассудков, и дальше я уже пишу соловьем о том, что мне было интересно: какой был стих, какая тематика, почему, как она повернута – и это все благополучно проходило. Но, благодаря тому, что все это проходило успешно, у меня появились иллюзии, что все плохое у нас – это временное, а идем мы к чему-то хорошему.

И вдруг начался тридцать седьмой год. Это было ужасно. Я помню, одним из первых арестовали Александра Григорьевича Троцкого, историка. До этого часто арестовывали всяких людей, в частности в тридцать четвертом арестовали символистов-опоязовцев, арестовали Жирмунского, Гинзбурга. Через две недели их всех выпустили.

М.Н. – А ты знаешь почему? Жирмунский был в каких-то дружеских отношениях с Крупской (*жена Жирмунского была дочерью близкой подруги Крупской. – Н. М.*)

Н.Я. – Троцкого тоже выпустили. И как-то мы спорили о текущем моменте. Я была тогда, можно сказать, в чиновничьем аппарате – старшим редактором Гослитиздата по западной литературе. И в разговоре со Львом Львовичем (*Раковым. – Н. М.*) сказала:

– Знаете, несмотря на все эти ужасы и безобразия, у меня все-таки есть ощущение, что я – хозяин своего государства.

– Правда? – сказал он. – Слушайте, скажите, за что вы посадили Льва Львовича Ракова?

Моя позиция, конечно, сильно пошатнулась.

Его посадили в тридцать седьмом, били, но он ничего не признал и это его счастье. Когда Ежова сменил Берия, и вдруг повеяло воздухом какой-то перемены...

М.Н. – «бериевским ветерком».

Н.Я. – ...он вышел, потому что он не признал себя виновным. Но потом, во время войны, он вступил в партию. В сорок четвертом он приехал из Москвы в Ленинград, и я спросила, как это случилось, он сказал: «Вы знаете, было так все ужасно, немцы перли, и у меня появилась такая мысль: теперь все равно – или мы победим, и тогда будет гораздо лучше, и даже лучше, что такие люди, как я, будут в партии. Может повернуть куда-то».

Это идиотская мысль, конечно. Он же был в бригаде, которая в военных частях читала лекции о русской военной истории. И он говорит: «Ну что же вы думаете, ну я, старший лейтенант, вызвал меня комдив и говорит: «Что же это такое? Вся бригада – члены партии, один вы – беспартийный. Я дам рекомендацию». – Ну что я мог?»

М.Н. – Есть еврейский анекдот (говорит с еврейским акцентом): «Если я умру – считайте меня коммунистом, если нет – таки нет».

Н.Я. – Дальше, что случилось с ним. Он пошел вверх, начал делать карьеру. Уже после войны его отметили и сделали директором Публичной библиотеки. Он говорил: «Это было чудесное время. Я абсолютно ничего не делал, только получал информацию и подписывал бумаги, а все делали другие». И вот началось ленинградское дело, и он загремел на двадцать пять лет. Он сидел в тюрьме, не в лагере, вместе с Даниилом Андреевым, и они написали с горя это самое сочинение («Новый Плутарх». – Н.М.).

М.Н. – Самое интересное – формулировка обвинения: он, якобы, сконцентрировал большое количество оружия для неизвестной цели.

Н.Я. – И вот, когда я попала в лагерь, не буду рассказывать из-за чего, потому что это нелепо, глупо и смешно, я лишилась всех своих патриотических чувств, – тогда как в Москве у меня висел Сталин в погонах. Меня цап-царап всего на пять лет. Я была – специалист по борьбе с комарами, но мне не давали средств борьбы.

После трехмесячных курсов я пришла к начальству и сказала: «Я кончила курсы и мне нужны средства для борьбы с малярийным комаром». Начальник спросил: «Что же вам нужно?». Я ответила: «Мне нужно объезжать в радиусе трех километров все источники и обрабатывать их бензином или керосином». Он сказал: «Неужели вы думаете, что я вам дам хоть пол-литра бензина или керосина? Это дефицит и я вам его не дам. Но есть ли еще методы борьбы?» – «Есть, но они неэффективны. Скашивать растительность в воде».

Мне дали мужика, лошадку, тележку. Начальник санчасти была чсеир – член семьи изменника родины, кончившая срок, но не имевшая права возвращаться.

Так вот, я считаю, что именно за то, что я впала в эти отвратительные иллюзии, что меня соблазнили и мне засрало мозги, я заслужила все, что со мной случилось. **Так мне и надо!**

М.Н. – Ты и тогда так считала?

Н.Я. – Нет, тогда я еще так не считала, но, как-то я разговаривала с другой начальницей санчасти – тоже чсеир, полька, очень интересная женщина, мы с ней очень подружились. Мы с ней говорили по душам, и я сказала, я думаю, что Сталин до этого не доходит, КГБ ему тоже «засрало мозги» и он подчиняется.

Она на меня посмотрела и сказала: «Я к вам очень хорошо отношусь, вы мне симпатичны, но если вы допускаете мысль, что это все делается без ведома и согласия этого чудовища, то **так вам и надо**».

Думаю, что все «аргонавты», в большей или меньшей степени, заблуждались относительно марксизма и сталинизма. Причем у тех, кто не попал в лагерь, как Надежда Рыкова, глаза раскрылись значительно позже. Но даже те, кто понимали ситуацию достаточно ясно, подчинялись суровой необходимости – молчать и не лезть на рожон.

Мария Николаевна не любила вспоминать те периоды своей жизни, которые были связаны с тяжелыми пережива-

ниями. Она редко рассказывала о событиях, из-за которых она не смогла окончить консерваторию, потеряла голос, из-за которых не удалась ее профессиональная карьера, поэтому я мало могу добавить к ее биографии.

Но все-таки кое-что мне известно.

Осенью двадцать седьмого года Муся Изергина еще была в Москве, где жила вместе с отцом Николаем Михайловичем и Шурой Редько. Однако в двадцать восьмом году она уже переехала в Ленинград, а брак с Шурой фактически распался.

Она неохотно вспоминала о своем первом браке, из чего я заключаю, что ей эти воспоминания были неприятны. Возможно, именно в этот период ссор и размолвок с Шурой у нее и пропал голос «вследствие нервного несмыкания связок».

В одном из писем первого мужа моей мамы, «аргонавта» Жоржа Нецкого – маме, проводящей у родителей в Симферополе рождественские каникулы в январе тридцатого, я нашла некоторые подробности, касающиеся отношений Муси и Шуры.

В это время Муся уже была замужем, у нее родился сын, а Шура собирался жениться на Маре – Марии Гордеевой, которая ждала от него ребенка, – так что, казалось бы, страсти улеглись, все должны быть довольны и счастливы. Но нет, обида, ревность, неспособность понять друг друга – эти муки несчастливого брака еще свежи в памяти, кажется, что каждый из них спешит заглушить эти муки, «устроив жизнь своего сердца».

Вот что пишет об этом Георгий Нецкий:

«Дорогой родной Талушечек!

Сегодня канун моего выходного дня и я отправился после работы к Шуре, чтобы провести этот день вместе с ним и, очевидно, с мамашей и Марой. Об этом мы уславливались и я, будучи со времени твоего отъезда сугубо одинок и бо-былеобразен, решил ассоциироваться хотя бы на несколько часов с приятным человеком.

Но Шурино окно было черным и я, разочарованный, но надеющийся, неуверенно дернул за звонок, вслед за чем дверь

была отперта, и я увидел на пороге не Шуру и не его мамашу, а ... Мусю. Наша встреча была очень радостной, Муся поцеловала меня и проявила большую, свойственную ей динамику движений, языка и мимики. Она заметно погрузтнела, узнав, что ты в Крыму, так как особенно рассчитывала на твое общество, а поскольку она к первому февраля должна уже быть в Ленинграде, то с тобой ей не удастся увидеться.

На меня пахнуло московской обстановкой двадцать пятого года, когда я был постоянным компаньоном Муси, и мы ожидали предстоящего и впоследствии рокового приезда Шуры в Москву.

Мы отправились в «Поплавок», где за Мусиным обедом беседовали, главным образом, об истории с Шурой. Муся с заметно неприятным чувством выслушивала описания Мары, которые я давал ей по ее требованию. Она сказала откровенно, что ей необычайно тяжело было лишиться Шуры, и что после встречи с ним в Ленинграде у нее начались истерики. Теперь же она чувствует себя хорошо, любит своего сына, мужа же, очевидно, не любит, но живет с ним хорошо, в полной бытовой гармонии. Считает его малокультурным, но ценит его природный такт и джентельментство.

Она похудела, весела, у нее хороший цвет лица, но это уже не прежняя по-детски беззаботная Муся, у нее в душе, несомненно, осадок от прошлого и осадок тягостный. С Шурой, – она говорит, – все равно не могла бы жить, так как он ее мучил своей ревностью и неумением подчинить ее своим вкусам, создать гармоничность в отношениях. Я думаю, что в этом виноват не только Шура. Но как бы то ни было, Муся говорит, что жить с ним ей было мучительно, но так же мучительно было и потерять его. «...»

Вот, дорогая Талушечка, моя последняя новость, которая может взволновать наше арго сердце. Муся, между прочим, твердо намерена быть в Симферополе двадцатого августа этого года».

Как видно из этого письма, Мусе вовсе не был безразличен Шура, как она утверждала позднее. Возможно, поэтому она никогда ничего не рассказывала о нем.

О ком она любила рассказывать – так это о своем отце. Николай Михайлович был человек чрезвычайно остроумный и блестящий. В его характере, безусловно, присутствовал некоторый авантюризм. Он, будучи финансистом, образованным и умным человеком, не поднялся по служебной лестнице выше статского советника, так как карьерные соображения были для него отнюдь не самым главным.

Он был человеком азартным, картежником, но игра не подчиняла его себе целиком, так как, кроме всего прочего, он был человек высокой культуры.

Насчет того, где он был между семнадцатым и двадцать вторым годом, имеются различные версии. Мария Николаевна говорила, что он отправился по губерниям «внедрять правовые акты» и оказался отрезан от семьи на несколько лет.

По другим сведениям, он был послан в Америку по поручению Министерства финансов и долго не мог вернуться из-за революции и гражданской войны, а потом с трудом, на перекладных, частью пешком, без денег добрался, наконец, до Симферополя. Среди магнитофонных записей бесед с Марией Николаевной есть несколько ее коротких рассказов об отце, дающих представление о присущем ему чувстве юмора.

«Когда папа приехал из-за границы в двадцать втором году, его тут же забрали в ЧК вместе с вещами, потом отпустили на три дня повидаться с семьей. Появляется папа, за ним красноармеец тащит чемодан. Папа дает ему трешку:

– На тебе, голубчик.

Тот поклонился ему, как барину.

Папу отправили в Москву. Там он работал в Совнарком. Он был финансист–экономист, работал у Пятакова, «укреплял рубль».

Папа был неисправим. Как-то пришел начальник и говорит:

– Товарищи! Собирайтесь, сейчас будет лекция по атеизму.

Папа говорит:

– Я на лекцию не пойду, но тему дать могу.

– Какую? – спрашивает начальник.

– Не сотвори себе кумира.

Потом мне папа рассказывал:

– Ты знаешь, я почувствовал, что как-то странно все на-
пряглись.

На следующий день пришел начальник, спрашивает:

– Вы как, сами лекцию будете читать или кому-нибудь
поручите?

– Нет, я полечу на Луну, и оттуда буду читать сам.

Он так трепался на работе в тридцать четвертом году. Он
не мог не трепаться. Но когда его посадили, это ему не по-
минали.

Однажды приходит управдом. Папа уже был на пенсии.

– Товарищ Изергин, идите на лекцию в красный уголок.

– Вот еще! Зачем я пойду на лекцию, я сам могу читать
лекции.

Через некоторое время Антонина видит, что папа надевает
пальто, берет трость и шляпу.

– Ты куда?

– Я иду в красный уголок читать лекцию.

– Папа! Что ты говоришь? Что ты там можешь сказать?

– Ах, оставь, пожалуйста, я – русский помещик и пре-
красно умею разговаривать с простонародьем.

И все-таки он сел. Товарищи! Вы даже не знаете, как это –
жить, понимая, что вас могут сейчас посадить. Мы же с пол-
ными штанами сидели все время и всегда».

О том, как умер отец, Мария Николаевна никогда не рас-
сказывала, это была запретная тема. Я слышала, что он умер в
ссылке от голода. Возможно, ее не покидало чувство вины, что
она не смогла спасти его, – ведь она была рядом, в Алма-Ате.

Однако вернемся в двадцать восьмой год, когда еще были
живы и здоровы мама и папа Марии Николаевны, все они
жили в Ленинграде.

Вскоре после развода с Шурой Редько Мария Изергина,
по ее словам, неожиданно для самой себя, опять оказывается
замужем. Ее второй муж – инженер Михаил Шредерс. Судя

по фотографии и по рассказам Марии Николаевны, он был человеком довольно интересным, неглупым, но совсем из другой среды. В тридцатом году у Марии Николаевны рождается сын Коля.

О своей жизни в следующее десятилетие она рассказывала скупо. Сохранились лишь отрывки, небольшие штрихи:

«При Сталине было очень страшно. Но мы все равно как-то веселились. Я помню, мы думали, что бы нам сделать, и решили поехать на чью-то дачу, нарвать еловых ветвей, встать в сугроб и качаться, как будто мы – ели...

Дьяконовы были, Цезарь Вольпе, Берковские, Лукницкий... Но они постепенно убывали. Новый год встречаешь и видишь – все меньше народу становится...

Тихонов прекрасно «держал стол». Но он был простоватый, а жена – ультра интеллигентная. Она его сломала. У него свой стиль был, а она его тянула на интеллигентность, и он как-то деклассировался, ушел из своей среды и не пришел к этой, а стал просто мерзким партийцем. Сталинский орел! (*презрительно*).

Но ведь ужасно же было! Я прекрасно помню, как я шла по Лиговке, и вдруг слышу за мной голос Цезаря Вольпе:

– Муся! Вы еще ходите?

Я, не оборачиваясь, говорю:

– Хожу.

– А кого нет?

Я начала перечислять, а потом оглянулась, а его уже нет...

В учреждении, где я работала, на собрании одна выступила такая истеричная:

– Я предлагаю дать товарищу Сталину титул императора!

Все совершенно замолкли: сказать, что не годится – нельзя, сказать «дать» – тоже невозможно. Все-таки Струве, который вел собрание, нашелся. Он сказал:

– Видите ли, титул императора товарищу Сталину дать невозможно, так как товарищ Сталин всегда боролся против империализма. Поэтому оставим ему, что он «гений всего человечества».

Такая глупость!»

К тридцатым годам относится и рассказ Марии Николаевны о Хармсе:

«С Хармсом я знакома не была, но как-то попала на его концерт в музыкальной школе. Он читал стихи. Стоял, не двигаясь, совершенно без всякого выражения, с длинным таким носом и неподвижным лицом. Прочтет и вынимает из носа шарик блестящий, потом прочтет и опять, уже из уха вынет шарик и засунет в нос. Дети совершенно обалдели. Они даже не смеялись, они были совершенно потрясены, потому что это было необыкновенно: стоит человек, у которого все время откуда-то вылезает шарик. Введенский еще с ним ходил, Олейников. Я их видела всех на Невском. Обожал его Павел Павлович Щеголев (тогда – *муж Тотти*. – Н.М.) и массу знал наизусть».

Мать сестер Изергиных, Мария Петровна, умерла в возрасте пятидесяти девяти лет. «И слава Богу, – говорила Мария Николаевна, – никто при ней не был арестован, все было благополучно. А вот папа зато... не хочу», – так обрывались все ее воспоминания, когда доходило до трагических страниц ее жизни, которых было достаточно.

К тому времени, когда Мария Николаевна с сыном переехала в Алма-Ату, с Шредерсом она уже разошлась. По ее словам, жили они неплохо, без ссор и скандалов, но одно обстоятельство разрушило их брак: они друг друга почти не видели – первую половину дня отсутствовал он, вторую – она, у каждого была своя жизнь.

В Алма-Ате в сороковые годы Мария Николаевна работала в театре иллюстратором-аккомпаниатором. О работе в театре она вспоминала нередко и с удовольствием. Приведу здесь ее рассказы, записанные на магнитофонную пленку в конце восьмидесятых годов. Замечу, что в этих рассказах много суждений и замечаний, относящихся совсем к другому времени, но существенных по смыслу и передающих прелесть живой речи Марии Николаевны:

«Приехала, когда вышла из больницы Уланова, кроткая и божественная. А до этого еще приехали киевляне, которые

должны были ставить какой-то балет. Незаметно, незаметно... вдруг оказывается – Уланова ставит «Жизель». Она интриганка была необыкновенная, она только очень мягко все делала. Ставила себе, ставила, я играла на репетициях – ничего особенного. Действительно, у нее ноги не идеальны, у нее коленки проваленные. И все говорили: «Ну и что! Уланова... Уланова...». Потом уже под оркестр пошло, и была уже репетиция генеральная днем. И все танцевали в полную силу, а она «в полноги» танцевала, и все опять говорили «Ну и что? Уланова... Уланова...»

Я думаю, идти вечером на премьеру или нет. Ну, думаю, все-таки пойду. Пришла. Танцуют. Вдруг выбегает девочка, молоденькая, веселая девочка. И совершенно все равно было – коленки проваленные или не проваленные, потому что вы ей сопереживаете, вы уже в ее жизни. И потом, она так его любила, этого Альбера, она даже ногой его обнимала! И вы только думаете: «Боже! Хоть бы она его спасла!» Не думаешь, как она танцует. Как трагично! Какая злая эта самая Viva! Что же это такое делается!

А потом, когда уже начинает светать, она становится в такую ангельскую позу, он ее обнимает за талию и вдруг... она становится мертвой. У нее руки падают, и она, мертвая, уходит за кулисы.

На другой день я спрашиваю: «Галина Сергеевна! Как это вы не двигаетесь и становитесь мертвой? Как вы это делаете?»

Она ответила гениально: «Я это нарочно делаю». Как – она объяснить не может.

И вот я стою в кулисе – Селезнев, ленинградский балетмейстер, стоял и плакал. Жизель разбрасывает розы. И я думаю: только так молодая девушка может разбрасывать цветы, только так! А когда, танцую лебедя, она умирает, от нее остается кучка перышек, больше ничего не видно. Удивительно! Вот чего нет в Плисецкой совершенно. Плисецкая играет только себя. Больше, чем себя. Она, что называется, вылезает из кожи. Митя Орбели (*племянник Марии Николаевны – Н.М.*) говорил, что она напоминает верблюда, который

прошел через игольное ушко. Умиравший лебедь! У нее же не крылья, а змеи. Вот у Анны Павловой – крылья. Это раненая птица. Уланова входила в роль, она перевоплощалась. У нее все выходило абсолютно естественно, о технике не думаешь. Это – искусство.

Вы даже не знаете, что такое интересный театр. Когда я была молодая, мы там торчали, не переставая. Тогда был совершенно другой театр, без режиссера. Играли актеры. Режиссер не чувствовался. Никаких находок! И было так интересно!

А теперь только думаешь: «Как хорошо сделано!» Мейерхольд, Таиров – это интересно, но это другое, сопереживаний не вызывало. Например, необыкновенно красивый был Камерный театр. Но там были «штучки». А в молодости я сопереживала. Никто не заботился «как», заботились «что».

А потом, после Таирова, Мейерхольда эта школа Станиславского – несчастье. Мой муж говорил (*Павел Осипович Кайров, третий муж Марии Николаевны, актер. – Н.М.*), что это – высшая мера наказания. Все несчастные актеры искали зерно. Это – порча актера. Теперь ищут режиссера.

Булгакова можно так интересно поставить. Сталин ходил бесконечно. (*Он был на «Днях Турбиных» десятки раз. – Н.М.*). Я считаю, он потому ходил, что каждый раз думал: «Мы их уничтожили... и еще уничтожим... и еще...».

Хороший актер – Жан Габен, у нас – Дворжецкий, умер рано. «Джен Эйр» – крепкая постановка, там ни на грош режиссера не видно. Я не хочу режиссера! Тарковский – скучица, не люблю. Это так претенциозно, значительно. Я ненавижу претензию. Медленно, скучно. Я начинаю засыпать. Таганка – актеры неважные, но необыкновенный темп. Зачем мне медленный темп? Вот я умру – у меня будет медленный темп».

Следующий диалог Мария Николаевна вела со внучкой своей приятельницы, Натальи Васильевны Голицыной – Катей Голицыной, бывавшей в ее доме в Коктебеле, начиная с раннего детства. Этот диалог также сохранился на магнитофонной пленке.

Е.Г. – А когда Вы жили в Алма-Ате, там много интересных людей было?

М.Н. – Да, были. Я в одном доме жила с Домбровским. Но я очень мало была с ним знакома, я была вся в театре. Я его тогда почти не знала.

Берковский (*Наум Яковлевич, литературовед. – Н.М.*) рассказал, что ему дали на прочтение книгу Домбровского «Обезьяны приходят за своим черепом». Пришли казахи, – а они в этом ничего не понимали, и говорят, что если книга хорошая, они его примут в Союз <писателей> (а он уже один раз сидел) – и ему дадут карточку <продовольственную>. Берковский сказал, что, если бы даже она была плохая, он написал бы хороший отзыв, чтобы дали карточку, но книга оказалась очень хорошей. Он быстро отдал, я прочитать не успела.

Домбровский был без зубов совсем, и ноги у него были больные после первой «отсидки». Около него всегда восседала очень хорошенькая девушка, которая влюблена была в него «по уши».

Е.Г. – А что? Он был хорош собой?

М.Н. – Совсем нет. Он интересный был, остроумный. Мы только один раз столкнулись с ним. Он и режиссер говорили о Куприне, и я сказала: «пошлый писатель». И я почувствовала, что они восприняли меня как какую-то дуру несусветную, и мне стало неинтересно.

Я считаю, что Куприн – хороший писатель, но «Гранатовый браслет» – ужасная пошлятина. Какой-то Яичкин... нет, Желтков. Боже! Она княгиня! Но «Штабс-капитан Рыбников» – хорошая вещь.

Е.Г. – Кто еще был?

М.Н. – Из знаменитостей? Бывал Ауэзов. Отчаянно ухаживал за Тотей. Был венгр один, известный киновед, фамилии не помню, масон. Он был старый и похож на даму, а его жена, тоже старая – была похожа на старика.

У нас бывала куча народу, хотя мы с Тотей жили в ужасном подвале. Венгр орал: «Я хочу молотать кофе!» Выпивали,

весело было, мелькали разные люди. Но я больше бывала в театре.

Был очень интересный скрипач Лесман. Я работала вместе с ним в консерватории.

Е.Г. – Но и за Вами, наверное, о-го-го сколько ухаживало?

М.Н. – Нет, за мной – нет. За мной не ухаживали, но вечно меня хватали, и меня это так раздражало – нельзя объяснить. В особенности в театре. Про меня ходила слава, что я буквально со всеми живу. Стоило мне с кем-нибудь появиться – все, с ним живет. Мне все равно было, я же очень уставала. Актеры всегда приставали. Им скучно, пока они ждут выхода, делать нечего, вот они и пристают. А я была совершенно равнодушна к сплетням: пусть говорят.

Е.Г. – А в театре Вам нравилось работать?

М.Н. – Очень нравилось. То есть для повышения квалификации это Бог знает что, но это было страшно весело.

Е.Г. – А Вы были человеком-оркестром или даже сольные номера были?

М.Н. – Нет, я даже пела, даже выходила на сцену. *(В сороковые годы, во время пребывания в Алма-Ате к Марии Николаевне вернулся голос, и она с большим успехом выступала с сольными концертами – Н.М.)*. В театре интересно. Тем более, что ни с какого боку меня не касались их интриги, а всякие истории я любила ужасно. Кто-нибудь напьется – интересно, как он, – выйдет сейчас пьяный или заменять будут».

Очевидно, что в сороковые годы в Алма-Ате, несмотря на войну и бытовые трудности, жизнь у Марии Изергиной была довольно оживленной. Но в сорок шестом году произошла катастрофа, которая разделила ее жизнь на две части – до и после.

Погиб ее шестнадцатилетний сын Коля. Причина и обстоятельства его гибели окутаны туманом: естественно, что у Марии Николаевны спрашивать об этом было немыслимо, а сама она о Коле никогда не говорила. Это была такая же запретная тема, как смерть отца. Считалось, что его случайно застрелил на охоте приятель.

Однако, Татьяна Говорова, двоюродная сестра Марии Николаевны, тогда – молодая девушка, любившая Колю и дружившая с ним, рассказывала своей дочери Наталье Говоровой, а та, в свою очередь рассказала мне, совсем другую версию. Согласно этой версии, Коля попал в дурную компанию, запутался и покончил с собой. Теперь это невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть.

Так или иначе, – для Марии Николаевны это была трагедия, которая изменила ее жизнь и, в значительной степени, ее характер. Горечь этой потери и своей невольной вины она несла в себе до конца своих дней. Тогда у нее вновь пропал голос, но в театре она продолжала работать – надо было жить.

Вскоре она вышла замуж за талантливого актера, веселого и остроумного человека – Павла Осиповича Кайрова: думаю, ей просто необходимо было к кому-то «прислониться». Кайров, правда, выпивал изрядно, но, даже будучи «в подпитии», не терял своего остроумия, смешил Марию Николаевну, так что она не могла на него долго сердиться.

Узнав, что у Кайрова есть дочь, которая его никогда не видела и живет с бабушкой и дядей, так как ее мать вскоре после разрыва с Кайровым покончила с собой, Мария Николаевна уговорила его принять участие в воспитании девочки. Лиля – так ее звали – впервые увидела отца, когда ей было девять лет.

Живя в Алма-Ате, Мария Изергина в конце сороковых – начале пятидесятых годов бывала в Москве и Ленинграде ежегодно. Все больше ее тянуло вернуться в Россию, в Крым, в места, связанные с юностью, туда, где до сих пор оставалось много друзей и близких.

Окончание в № 234

Глеб Васильев.
Галина Никитина

«Их дух, их мысль...»

В декабре семьдесят шестого года мы получили открытку из Голицына от Анастасии Ивановны.

«Сообщаю вам, дорогие друзья, печальную весть: сегодня, семнадцатого декабря в Варварин день скончалась – в первую половину дня Мария Степановна Волошина¹».

Отчего, как – не знаю, мне позвонила Рита² и прислал телеграмму один друг. Похороны должны быть в Николин день, девятнадцатого, не ранее.

Витя³ выезжает завтра <...>. Хотела звонить вам, но по телефону просила об этом Витю, чтобы позвонил вам, может быть вы уже будете знать, когда получите эту открытку.

¹ Мария Степановна Волошина (1887–1976) и Анастасия Ивановна Цветаева, зная друг о друге с 1913 года, сблизилась в 20-м году, когда Анастасия Ивановна жила с 1919 года в имении Бусалак. «Ася жила в Бусалаках, была там хозяйкой. Это имение И. В. Зелинского (1858–1928, народоволец). <...> Ася была дружна с моей подружкой по курсам Валеи Зелинской (1892–1928). Она меня пригласила в Бусалак. <...> Я с Асей там по-настоящему встретились.» (Волошина М. С. «О Максе, о Коктебеле, о себе: Воспоминания. Письма. – Феодосия; М.: Издат. Дом Коктебель, 2003, с. 229, 292).

² Рита – Маргарита Андреевна Трухачева-Мещерская, р. 1947, старшая внучка Анастасии Ивановны.

³ Витя – Виктор Авраамович Мамонтов, р. 1938, литератор, литературовед, Друг (с 1965) и крестный сын Анастасии Ивановны (1971). С 1982 года и по наст. время архимандрит, настоятель Свято-Евфросиньевского храма в г. Карсава, Латвия. Познакомился с Анастасией Ивановной через Марию Степановну Волошину в 1965 году.

Кончилась ее жизнь!

Радуюсь за Вас, что были у нее⁴ в последние месяцы ее. И принимали ее и все вокруг. Что были в Максином и ее доме! Не дождала мало до столетия Макса.

Где похоронят – смогут ли, как она хотела – в его могиле? Ведь в их ограде на сельском кладбище нет места, вы помните. Если только расширят ограду... Молюсь, чтобы исполнили ее волю. Храни вас Бог, друзья мои. Жду вас к себе.

Сбоку приписано: На стол я поставила ее (вашу) карточку, – может быть последнюю!..

Ваша А. Цветаева.

В начале семьдесят седьмого мы получили еще два письма, сообщающие об этом печальном событии – от Бори Гаврилова⁵ и Тани Стецюренко⁶.

«...Эти дни после ухода Марии Степановны от нас, до сих пор полны скорби, и все здесь напоминает об ушедшей жизни: Дом, со всей его утварью, Дом со всеми традициями и прошлой жизнью духовной, друзья Дома и письма от них...

Каков будет путь из Дома в Дом-музей, знает только Бог. Нужно надеяться, что судьба не оставит этот храм и, переступивший порог, окажется у отпертой двери. <...>. До свидания.

Борис Антонович».

«... Теперь о М<арии> С<тепановне>. Умерла она семнадцатого в 11 часов, будучи до этого два дня без сознания и так и не придя в него. Умерла без страданий.

⁴ Мы в октябре 1976 г. сопровождали Анастасию Ивановну в Коктебель, в ее поездке к Марии Степановне Волошиной, где и познакомились с ней.

⁵ Борис Антонович Гаврилов (р. 1953), помощник Марии Степановны в ее последние годы, экскурсовод. Познакомились с ним и подружились в наш первый приезд в Коктебель в окт. 1976 г.

⁶ Стецюренко Татьяна – медсестра, жительница Старого Крыма, друг Анастасии Ивановны.

Я была в Коктебеле дважды: <...>. Могилу долбили в скале, было очень трудно, да еще погода стояла холодная, ветряная. Копали друзья, приехавшие на похороны. Место возле Волошина. Власти не разрешали там хоронить, но друзья добились своего, исполнили завещание М. С. Людей было много из Москвы и Ленинграда. Гроб стоял в зале музея, весь в живых цветах. На столе лежала Библия, и желающие читали вслух, как положено.

Двадцатого приехал священник в час дня и начали отпевание <...>.

После отпевания простились с Марией Степановной, гроб запечатали и повезли медленно по парку, а толпа людей медленно шла за гробом. Когда выехали на шоссе, машина поехала быстро, а людям подали автобус...<...>

В семьдесят седьмом летом будет отмечаться столетие Макса Волошина, писали в газете.

Будьте здоровы. Таня».

...Наступило двадцать пятое января. Сороковой день со дня ухода Марии Степановны. Ее друзья собрались встретиться, чтобы вспомнить о ней по христианскому обычаю. Анастасия Ивановна позвонила нам, чтобы мы зашли к ней и все вместе мы поехали к другу в Малый Козихинской переулок, что рядом с Трехпрудным, Прохорову Саше⁷.

Анастасия Ивановна встретила нас как-то особенно приподнято и бодро.

В разговоре, пока ожидали еще кого-то, упомянули о пластинке с записью песен на стихи поэтов и среди них Волошина.

– На стихи «Я вхожу в кабинет...», – сказала Галя, – или нет... – помедлила она, вспоминая, и Анастасия Ивановна тот час произнесла первую строчку:

⁷ Прохоров Александр Владимирович (р. 1941), д-р физико-математ. наук, лингвист. С Анастасией Ивановной познакомился в 1975 г. (Первый брак с Екатериной Толстой, художницей).

Я мысленно вхожу в ваш кабинет...

Потом, немного подумав, продолжила:

*Здесь те, кто был и те, кого уж нет,
Но чья для нас не умерла химера,
И бьётся сердце, взятое в их плен...
Бодлера лик, нормандский ус Флобера,
Скептический Франс, святой сатир – Верлен,
Кузнец – Бальзак, чеканщики Гонкуры...
Их лица терпкие и чёткие фигуры
Глядят со стен и спят в сафьянах книг
Их дух, их мысль, их ритм, их бунт, их
крик...*

Я верен им...⁸

.....

– А вы знаете к кому оно обращено? К – Хин⁹. Это была умная и интересная женщина. Она держала литературный салон, всегда ходила по старомодному – с прической, забранной в сетку. Мне же она оставалась всегда совершенно чуждой по духу.

А теперь, пока есть время, я хочу, чтобы вы почитали «AMOR».

Мы садимся за листы рукописи, извлеченной из уже знакомого нам, зеленого, невероятной тяжести, портфеля, хранящегося за роялем.

«AMOR» – большой многоплановый роман, события которого начинаются в тридцатые годы на одной из лагерных строек пятилетки. Роман автобиографичен и его героиня живет и действует в служебных и личных столкновениях с од-

⁸ М. А. Волошин. Стихотворение – Р. М. Хин, 1913 г.

⁹ Р. М. Хин – Рашель Мироновна Хин (в замужестве Гольдовская, 1863–1928), писательница. Стихотворение положено на музыку Д. Тухмановым (1976).

ним человеком – начальником строительства гидростанции, инженером Морицем¹⁰. Многогранный и скрупулезный, прямо-таки прустовский, анализ ее чувств выполнен виртуозно. При этом вся сложность человеческих характеров, главным образом Морица, проясняется только в зеркале ее чувств и размышлений.

Было прочитано еще только несколько страниц рукописи, как отворилась дверь и возникла невысокая фигура молодого человека, который был представлен Славой¹¹ и в краткие моменты отсутствия хозяйки сказал, что приехал на курсы усовершенствования врачей из Донецка, познакомился с Анастасией Ивановной прошлой осенью в Коктебеле, где провел месяц отпуска с женой¹², которая... всю Цветаеву знает наизусть! В Москве он уже встречался с Анастасией Ивановной, записывал ее рассказы о Марине, и переписывает целую книгу Марининой корреспонденции¹³, и все это отсылает домой.

– Не отвлекайтесь же, не разговаривайте, а то вы ничего не успеете прочитать, – сказала «деспотично» Анастасия Ивановна снова появившись на пороге комнаты.

¹⁰ Мориц – герой романа Анастасии Цветаевой «AMOR». Его прототип – Этчин Арсений Аркадьевич (1902–1941), инженер, долго работал за рубежом. Был обвинен в шпионаже и осужден. В лагере работал начальником расчетного отдела.

¹¹ Слава – Ботев Вячеслав Семенович (р. 1946), нейрохирург. Живет и работает в Донецке. Много работал за рубежом – в Алжире, Ливии и др. африканских странах.

¹² Ботева (урожд. Гринева) Валентина Григорьевна (р. 1952), по профессии инженер-химик. Поэт, художник. Первая ее публикация стихов в журнале «Континент», затем – три публикации в журнале «Грани» и др. Познакомившись с Анастасией Ивановной осенью 1976 г. в Коктебеле, она и ее муж, Ботев В. С. стали близкими друзьями Анастасии Ивановны.

¹³ Письма Марины к Анне Тесковой (135 писем) были опубликованы впервые в 1969 г., изд. «Akademia» в Праге. В то время эта книга была не только большой редкостью, но и представляла собой большую опасность, поэтому Анастасия Ивановна показывала ее далеко не каждому, а лишь своим близким друзьям.

Она дала и Славе тетрадочку со своим рассказом «Родные сени»¹⁴.

Но вот раздался звонок и, после долгого копошения в дверях, явилась женщина, крупная, со смуглым лицом и добрыми синими глазами. Сначала мы подумали – уж не Катя ли Толстая?¹⁵ Но, нет. Это ее подруга, о которой нам уже говорила Анастасия Ивановна – Тамара¹⁶, так она назвала пришедшую. Та робко напомнила, что пора бы и собираться, на что Анастасия Ивановна отвечала, что мол, идти туда всего пять минут, это, ведь, рядом с Трехпрудным...

Наконец, настал должный час, все облачились и общество тронулось. Повоевав с дверью, первой вышла хозяйка, Глеб замыкал шествие и дверь. До его слуха вдруг донеслись какие-то тревожные возгласы: «Анастасия Ивановна, не спешите! Тише! Подождите! Не бегите же!» – на разные взволнованные голоса.

А дело-то было в том, что Анастасия Ивановна, освободив локоток из заботливо поддерживающих ее рук, ринулась по темной лестнице вниз, бегом, чем изрядно напугала сопровождающих, не привыкших к такой резвости восьмидесятилетних. Оказалось, что это ее обычная манера спускаться по лестнице, чтобы быть «в форме»!..

Трехпрудный. Чуть метет. Тепло. Легонькая и маленькая Анастасия Ивановна очерчивает палкой заснеженное про-

¹⁴ Мистически окрашенный рассказ Анастасии Цветаевой «Родные сени» был опубликован в журнале «Юность», № 1, 1988. (с. 30–34) и в ее книге «Неисчерпаемое» в 1992 г. (–М.: Отечество). В архиве сохранилась ранняя машинопись этой повести на папиросной бумаге.

¹⁵ Катя Толстая – Толстая Екатерина Никитична (р. 1939), художница, портретист, внучка Алексея Николаевича Толстого. Активно начала рисовать с 1968 г. Затем, после шестилетнего перерыва в 1974 г. возвращается к мольберту и вскоре становится членом Московского объединенного комитета профсоюза художников-графиков.

Толстой Алексей Николаевич (1882–1945), писатель, публицист.

¹⁶ Иванчик Тамара Александровна, биолог. Помогала Анастасии Ивановне в перепечатывании ее рукописей.

странство перед мрачноватым фасадом высокого каменного здания.

– На этом месте, – говорит она, – стоял наш дом. Тут было парадное. Здесь росли серебристые тополя. Первое окно, второе... Вот тут было Маринино окно. Передние комнаты – залы, были высокие, задние – ниже. А во дворе, вот там и здесь стояли два колодца с журавлями, – продолжает она рассказывать, чертя невидимое палкой...

Уверенность и четкость ее воспоминаний создает эффект присутствия, и, слыша «наш дом», мы тоже видим «их дом» – въяве. Совершается чудо – бесконечно долгое время, в целых три человеческих поколения, сокращается в одной фигурке, одетой в долгополое, подбитое ветром, пальто, закутанной в серый шерстяной платок.

Она одна вобрала и сосредоточила в себе все это время, и больше оно было неспособно отделить нынешний вечер семьдесят седьмого от первого года начала века. Иллюзия сопричастности достигнута.

.....

*Будет скоро тот мир погублен,
Погляди на него тайком,
Пока тополь ещё не срублен
И не продан ещё наш дом.*

*Этот тополь! Под ним ютятся
Наши детские вечера.
Этот тополь среди акаций
Цвета пепла и серебра.*

*Этот мир невозвратно-чудный
Ты застанешь ещё, спеши!
В переулок сходи Трехпрудный,
В эту душу моей души.¹⁷*

¹⁷ III-V строфы стихотворения Марины Цветаевой: «Ты, чьи сны ещё не пробудны,...» (1913)

Малый Козихинский переулок. Мы входим в старый московский дом и по выщербленным ступеням поднимаемся на второй этаж. Через двойную дверь с тамбуром попадаем в большую переднюю, где гостеприимный хозяин уже помогает снять наши пальто. Кроме нас, приглашенных еще нет.

Из передней налево – кухня. Ее громадный размер совершенно скрадывает утилитарную часть этого помещения – плита, шкафы, полки, холодильник теряются в такой комнате, напоминающей глазу, непривычному к таким масштабам, большую залу. Здесь же круглый стол с уютной лампой и полка с живописными безделушками еще более маскирует функциональное значение этого помещения.

Из узкого коридора три двери слева ведут в кабинет, гостиную и детскую. В конце еще одна дверь – направо – в комнату старшего мальчика Глеба¹⁸. Он страдает некоторой полнотой, что особенно заметно при его небольшом росте, хотя сам он довольно подвижен. Сразу же бросается в глаза удивительное сходство с его знаменитым прадедом! До чего же въедливо графское семя! Сходство еще более подчеркивается и характерной прической – ни дать, ни взять – памятник у Никитских ворот!

Хозяин дома, Саша Прохоров, потомственный математик. Академик Юрий Прохоров¹⁹ – его дядя. Саша – моложавый черноглазый брюнет понравился Глебу чрезвычайно. Глеб вспомнил выпускников Университета военных лет, и, как он говорил позже, окунулся в атмосферу мехмата того времени, почувствовав к Саше еще большее расположение.

Саша один управляет с тремя детьми, домом и наукой, его жена, Катя Толстая, уже четвертый месяц живет в Коктебеле, где пишет портреты.

¹⁸ Прохоров Глеб Александрович (р. 1964), закончил факультет истории искусств МГУ, работал в Третьяковской галерее ст. научн. сотр. Затем резко сменил свои интересы, закончил специальное учреждение, став практикующим психотерапевтом. Имеет двух детей.

¹⁹ Прохоров Юрий Васильевич (р. 1929), математик.

Из передней вторая дверь ведет в центральную комнату, которую можно назвать столовой и, которая, вместе с тем, изобличает склонность хозяйки к искусству. Вдоль стен аккуратными рядами повешены десятка два пастельных, но ярких портретов. Все лица имеют одинаково застывшее выражение и различаются только живописными средствами и декоративными аксессуарами. Тут же большие подрамники, стойки для картин, верхний свет в виде рефлекторов, подвешенных к потолку на блоках и другие свидетельства свободной профессии хозяйки.

Впрочем, это не профессия. Катя получила образование биолога, но не работает в этой области и целиком отдается своему увлечению.

Пока мы осматривались, в большой столовой раздвинули старинный стол «тройного растяжения» с колесиками на массивных ножках, принесли вкладыши и уже на белоснежной скатерти появились торты, печенье, пирожные домашнего приготовления и сверкающие миски с резаными апельсинами, залитыми белым вином – крушон! Стол был накрыт на тридцать персон одинаковыми чайными приборами.

Еще одна дверь из столовой вела во второй кабинет, напротив нее – в комнату, отданную детям.

Пока собирались гости, Анастасия Ивановна сидела в детской, окруженная «прелестными малютками». Сашенька²⁰, с локонами херувимчика, стоял на стуле на коленях, показывая Анастасии Ивановне картинки в своих книжках. Рядом стояла семилетняя Олечка²¹, черноглазая с красным бантом в черных волосах, а сама Асенька сидела в длинном черном платье, такая несовременная, такая московская, что казалось

²⁰ Сашенька – Прохоров Александр Александрович (р. 1970), композитор. Живя в США окончил певческую ординатуру, певец – бас, в репертуаре оперные арии, романсы. Имеет троих детей, которые живут в России.

²¹ Олечка – Прохорова Ольга Александровна (р. 1969), закончила филфак МГУ, журналист, пишет стихи и прозу, напр. «Азбуку Буратино» для детей и др.

мы перенесли в чудное далекое прошлое, будто «царствие небесное спустилось на землю...», как изъяснился однажды Белый в своей Симфонии²². В углу детской, не в «Красном» углу, а над шкафом у двери висела икона в серебряном окладе. Подойдя к ней поближе, Анастасия Ивановна стала приглядываться.

– А это мне подарила Мария Степановна, – сказала маленькая Оля. – Это икона Святой Ольги и она подарила ее мне в день именин.

– А ты знаешь, когда твои именины? – спросила Анастасия Ивановна.

– Конечно. Двадцать четвертого июля, – ответила та.

– А Сашенька? Знает?

– Вскоре после моих, – сказала Оленька. – И у нас бывают подарки у обоих сразу.

Пока мы были в детской, в доме уже собрались почти все приглашенные – мелькнуло лицо Елены Александровны Благиной²³; переводчицы с польского, которую мы уже видели в Коктебеле. В прихожей какой-то солидный господин подарил маленькой Оле книгу стихов Маршака, она тут же принесла еще одну, и они стали их сравнивать. В большой комнате слышались разговоры, возгласы, представления и знакомства.

Всех пригласили к столу и, после долгих усаживаний, были разлиты чай и крушон. Поднялся тот господин, который давал Олечке книгу стихов – «А это – Маршак²⁴» – сказала сидящая рядом дама на мой немой вопрос: «Кто это?»

²² Белый Андрей (наст. имя Борис Николаевич Бугаев, 1880–1934), поэт, прозаик, теоретик символизма.

Симфония А. Белого «2'я, драматическая, ч. 1» (1901): «... Он пел грудным страстным голосом и срывал концы слов как истый цыган.

Так мило они веселились. Казалось Царствие небесное спустилось на землю.»

²³ Благинина Елена Александровна (1903–1989), поэт, близка к коктебельскому кругу, группировавшемуся вокруг Дома поэта., писала стихи для детей.

²⁴ Маршак Иммануил Самуилович (1917–1977), физик.

Последовало недолгое молчание, положенное в таких случаях и чаепитие за столом сменилось общей беседой, после чего было решено посмотреть фильм по Коктебелю, привезенный нами. Мы оба волновались, что при его демонстрации вдруг что-то произойдет непредвиденное – порвется пленка, откажет проектор или еще что-нибудь. Но все обошлось благополучно.

Особенно понравились кадры, где Сашенька играет с морской волной на пляже в Коктебеле. Фильм хорошо вписался в атмосферу этого вечера.

Затем поднялась невысокого роста дама, эстрадная артистка. Исполнительница устных рассказов, написанных ею самой – Елизавета Ауэрбах²⁵. В руках она держала «Дневник Душечки» – рукописное произведение с фотографией котенка на обложке и рисунком производства «Котиздат».

Любимая кошка Марии Степановны прожила в Доме поэта чуть не двадцать лет и под конец жизни, на радость нашим благодарным потомкам, оставила по себе рукописный дневник.

Елизавете Борисовне Ауэрбах было позволено переписать кое-что из рукописи, подлинник которой хранится в заветном сундучке Марии Степановны. Дневник был начат давно, очевидно, еще в молодые годы Душечки, когда ее заботили вопросы благополучного разрешения от бремени в отсутствии хозяйки, ничего не понимавшей в прелести кошачьего потомства.

²⁵ Елизавета Борисовна Ауэрбах (среди друзей и в Коктебельском круге – «Изюмка», 1912–1995) – эстрадная актриса, исполнительница коротких рассказов, в основном авторских. Встреча с Ауэрбах имела продолжение: нами был напечатан, иллюстрирован ее рассказ «Дневник Душеньки», оформлен в виде переплетенной книжечки и подарен ей. (Второй экземпляр хранится у нас). В ответ мы получили машинописный сборник из десяти ее коротких рассказов с фотографией и дарственной надписью «Милой, милой Галине Яковлевне на память от автора – Е. Ауэрбах», а также и телеграмму: «Очень благодарю за неожиданный дорогой подарок... Ваша Ауэрбах».

Повесть «Дневник Душечки» несколько затянулась, а что хуже того, в большей своей части оказалась сфокусированной не на Марии Степановне, а на прелести Изюмки – коктебельский псевдоним Ауэрбах, и ее приключениях. Собрание наградило артистку аплодисментами и уже кое-кто ушел, ввиду позднего времени, а прочие, рассевшись свободнее, приготовились слушать страницы воспоминаний Лени Домрачева²⁶, приехавшего из Питера с молоденькой дочкой²⁷ – пианисткой и ее мужем²⁸.

Следует сказать, что этот Леонид Домрачев ничем особенно не знаменит, кроме долголетнего пребывания под сенью Волошинского Дома. Лёня, так называла его Благинина, оказался настолько стеснителен, что поручил читать рукопись дочери с больным горлом и чрезвычайно слабым голосом. К сожалению, было уже поздно и обилие других впечатлений вместе с наступавшей усталостью, помешали запомнить страницы жизни, написанные им, просто и достоверно. Вот наиболее яркие отрывки, которые сохранила наша память...

...Мария Степановна имела сугубо пролетарское происхождение. Ее отец паровозный машинист – был единственным кормильцем большой семьи. Когда он внезапно скончался, они остались без всяких средств к существованию, и мать в отчаянии пыталась покончить с собой.

Этот случай попал в газеты, и несколько богатых семей откликнулись, взяв на себя заботу о воспитании детей. Стар-

²⁶ Домрачев Леонид Петрович (1912–1987), инженер-электрик. Еще его родители были друзьями М. С. Волошиной, когда она была курсисткой. А с 23-го года стали постоянными друзьями Дома Волошина. Леонид Петрович оставил рукопись: «Максимилиан Александрович и Мария Степановна Волошины в моей жизни». – Харьков, 1977. Рукопись с сокращениями была позже опубликована в альманахе «Крымский альбом», 1996. С. 196–217».

²⁷ Елена Леонидовна Домрачева (р. 1949), музыкант.

²⁸ Эрик (Северин Васильевич, 1933–2001), звукорежиссер.

шая – Маруся, закончила курсы сестер милосердия и потом жила в хороших домах, где люди нуждались в постоянном медицинском уходе. Так часто практиковалось в то время. По чьей-то рекомендации, она уехала в Крым к Волошину, чтобы ухаживать за его тяжело заболевшей матерью. Максимилиан Александрович к этому времени уже разошелся со своей первой женой²⁹ и вскоре женится на Марии Степановне.

Она была наивной и властной, доброй, капризной и жестокой – в ней всегда жили два человека: и один мог беспощадно обидеть, а другой – был готов на любые самопожертвования. Случалось ей устраивать разнос – «термидор» всем домашним, и, в том числе, самому Максиму, а потом она стояла на коленях, целовала у него руки и умоляла простить ее, а Макс большой и грузной, говорил ласково:

– Это же была не ты...

Она щедро приходила на помощь тем людям, которые подчас ее и не заслужили и, случалось, жестко отказывала тем, кто так в ней нуждался. Когда умирал отец Лёни Домрачева, которого она хорошо знала, она сразу же приехала, бросила все, и моральной поддержкой, твердостью и умом примирила его со смертью, которой он так боялся.

С годами чаще стала оскорблять людей и реже просить прощение. Вероятно, ее избаловала лесть. Лесть всегда развращает, а, особенно тех, кто как и она, не получили должного воспитания.

Мария Степановна была удивительно легковерна. Помню два случая. Как-то зимой, шутники вбежали в дом, крича, что видели чудо: на яблоне с голыми ветками висит румяное красное яблоко. И вместе со всеми озорниками, смотрела на это подвешенное яблоко и верила, что оно выросло, и удивлялась, и радовалась.

Другой раз, случилось, что, бывший у них в доме знаменитый артист собрался исполнить вечером при гостях свою

²⁹ Сабашникова Маргарита Васильевна (1882–1973), художница, мемуарист, первая жена М.А. Волошина. С 1918 г. жила в Германии.

новую композицию. И когда все уже собрались в зале, внезапно вбегает с криком Мария Степановна, подняв юбки. Все смешались, вскочили, вечер расстроился. Оказалось, что она ...присела в крапиву.

Как-то кошка, не найдя лучшего места, принесла котят в ... постели Макса. Тетя Маруся расшумелась и потребовала безоговорочного их уничтожения. Конечно, никто не хотел брать на себя эту неприятную миссию. И тогда ее подруга, приехавшая на лето, суровая сибирячка пристыдила меня.

– Ты же потенциальный солдат, – сказала она, – и будешь убивать людей, так что же значат какие-то котята?

Мне пришлось покориться и, собравшись с духом, я завязал их в узелок и пошел к берегу. Там привязал к узелку три камня, разделся и медленно, осторожно поплыл на глубину. Плыл тихо, чтобы не намочить узелок, затем нырнул и положил свой груз на дно. И вот, плывя назад, я обернулся и увидел барахтающийся комочек – один котенок сумел выпутаться и всплыть. Он-то и стал потом самой любимой кошкой Марии Степановны, которая прожила в ее доме довольно долго.

Когда мы жили у Волошиных, мне было десять-двенадцать лет, и ребята отчаянно безобразничали. Однажды, когда нам с сестрой было сказано вынести красивый таз с водой, мне показалось, что сестра «не так» взялась за дело и я дал ей подзатыльник. Она упала, таз разбился. Мария Степановна устроила нам страшный «термидор».

Я был самый рослый из ребят и заводила в шалостях, например, использовал сиденья стульев, как серсо. Один раз мы заложили колодец камнями и ловили сачком гнездившихся в нем воробьев.

При всяком разносе – «термидоре», Макс добродушно вставал на нашу защиту и говорил, что мы непременно исправимся. Только раз мы огорчили его по-настоящему. Он дал нам свою любимую детскую книгу. Мы читали ее, а потом оставили на балконе и ушли играть. И вот, час спустя, видим такую картину – Макс, пыхтя, несется по саду. А за ним –

человек двадцать и все бегают и ловят какие-то листы. После этого случая Макс сказал, что нам будет лучше приехать после того, как мы научимся ценить книгу.

Тогда в Коктебеле было принято ходить, купаться на пляже без всяких одеяний, поэтому загар сплошь покрывал тело и маскировал наготу. Впрочем, к морю приходили, чтобы выкупаться, а не лежать на пляже и, если кто-нибудь ползал по гальке или лежал на берегу – значит, он заболел «каменной» болезнью. И разыскивает знаменитые фермопиксы, лягушки, полинезийцы и прочие сокровища Коктебеля. Тогда агаты и сердолики еще можно было находить прямо перед домом.

Андрей Белый почему-то любил купаться на женском пляже. При этом он надевал халат на голое тело и со своими торчащими кудряшками и малом росте легко сходил за даму и никто не обращал на него вниманья.

Когда стали входить в моду джаз и западные танцы, все с увлечением принялись играть на чем угодно. Помню, что Белый со страстью дирижировал таким оркестром – на тазах, гребенках, стаканах и сам самозабвенно колотил серебряными ложками по спинке кровати. У сестры до сих пор сохранилась такая ложка с вмятинами – следами усердия Белого. На таких вечерах бывали Брюсов и Адалис³⁰, Шервинский³¹, Веснин³² и многие другие.

Макс рисовал много и со страстью. Рисовал акварели коктебельских пейзажей и раздаривал их своим знакомым. Однако, Мария Степановна считала это бездельем и требовала, чтобы он «работал», то есть – писал стихи. Так своеобразно понимала она дело и отдых.

Она чрезвычайно заботилась о диете Макса и, когда он стал полнеть – не давала сладкого. Макс нашел выход. Он ве-

³⁰ Адалис Аделина Ефимовна (наст. фамилия Эфрон. 1900–1969), поэт, переводчик, подруга Брюсова.

³¹ Шервинский Сергей Васильевич (1892–1991), поэт, переводчик с древних языков, стиховед, теоретик художественного слова.

³² Веснины – архитекторы конструктивистского направления. Три брата, который из братьев имеется ввиду – не установлено.

чером ходил «проведывать» своих друзей и знал, что у каждого из них найдутся для него какие-нибудь вкусные конфеты, которые он так любил. Так, совсем по-детски он обманывал тетю Марусю.

В последнее лето, которое я провел в Коктебеле, Макс был уже тяжело болен. Он страдал грудной жабой и астмой. Меня позвали, когда надо было переложить его на постель.

Он сидел в кресле и почти не мог двигаться. Его голова была опущена, глаза закрыты, и из груди вырывалось хриплое и тяжелое дыхание. Когда я приблизился, он оперся на мое плечо и, не открывая глаз, сказал: «Это ты, Лёня?» Даже не взглянув, он сразу узнал меня спустя несколько лет после нашей последней встречи. Мы с трудом переложили его. Я думаю, что он весил тогда не меньше ста двадцати килограммов.

...Двенадцатого августа Макс скончался. Долго не могли найти рабочих, чтобы приготовить могилу на высокой горе. Люди отказывались, говоря, что там – скала. Наконец двое согласились и пошли вверх, сказав, что попытаются и, если это окажется возможным – то дадут сигнал – разожгут костер на вершине. А если нет, так вернуться назад и будут хоронить на городском кладбище.

Долго продолжалось напряженное ожидание, но вот, наконец, в два часа мы увидели костер и поняли, что желание Макса будет исполнено.

Медленно, с трудом двигалась процессия к гребню горы, хотя были запряжены две сильные лошади и в трудных местах помогали все мужчины.

Мария Степановна была невменяема. Сжав кулачки, она металась по дому и выбрасывала прочь вещи. Она кричала, что ей ничего не надо, что она сожжет этот дом и богохульствовала: «Пресвятая Дева, где же Твоя доброта, если Ты могла отнять у меня Максиньку».

И тут же Анастасия Ивановна, сидевшая почти все время низко свесив голову и закрыв глаза, так что мы с сочувствием

думали, что она задремала от усталости, сразу же очнулась и твердым голосом призвала общество к вниманию.

– Маруся никогда не богохульствовала, – громко произнесла она, – Макс говорил, что в ней есть что-то богоборческое, но не богохульное. Мне она говорила, что ее вера – особая. Мой Бог – добрый. Он сделал меня такой. Не виновата я.

Я объясняла ей, что никакого твоего Бога нет. Есть один Бог и Он дал тебе характер и волю для того, чтобы ты его меняла. В этом-то все дело!

– Так что же, мне это вычеркнуть? – растерянно спросил Домрачев. Все замолкли смущенно и только Маршак, энергично подмигнув Леониду, сказал:

– Лучше подождать пока исправлять написанное.

Все хвалили автора и, ободряя его, высказали много теплых слов. На следующий день он и Арендт³³ должны были отправиться к литератору Марку Полонскому со своими воспоминаниями, читать их ему, так как тот собирался работать над биографией, а, может быть, и повестью о жизни Марии Степановны...

³³ Арендт Ариадна Александровна (1906–1997), художник, скульптор малых форм.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Виктор Кузнецов.
Георгий Кузнецов

«Времена не выбирают, в них живут...»

У нас в архиве сохранилась восьмилетней давности запись беседы с удивительным человеком – Львом Адлером, почти полвека проработавшим в Альметьевском нефтяном институте в Татарстане и бывшим там властителем дум молодежи, которой безразлично будущее России.

Его не раз упрекали, почему не пишет мемуаров. А он отвечал: моя личность, мол, не столь значительна. Между тем, редко кого жизнь сталкивала с таким количеством выдающихся людей, и все отмечали его неординарный ум, образованность и проницательность. Хотя по чисто анкетным параметрам он, действительно, не подошел бы для энциклопедий и справочников: ни ученой степени, ни опубликованных монографий, ни престижных мест службы.

В тридцать девятом году, окончив среднюю школу в Донбассе, Лев Адлер поступил в знаменитый Институт философии, литературы и истории на исторический факультет. Через два года – фронт, оканчивать учебу довелось уже в МГУ. Но именно ИФЛИ с его духом немыслимой свободы – не «тайной свободы», не кукиша в кармане, а свободы ошибаться и находить – остался на всю жизнь альма матер этого человека.

«ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ, В НИХ ЖИВУТ...»

– Начнем с признания: мы не без некоторых усилий получили от вас согласие поделиться ифлийскими воспоминаниями. Скромность в данном случае не объяснение, ведь мы знаем вас уже много лет...

– Дело, видите ли, в другом. Об ИФЛИ написано слишком много, чтобы мой рассказ добавил что-то новое. Так, некоторые штрихи к биографиям... Правда, большинство книг о нашем институте отличаются «филологическим» уклоном, что естественно для людей пишущих. Да и филфак был в нем главным и самым престижным факультетом. Поэтому, может быть, как историк я вижу институт несколько с другой стороны. Но сегодня важнее, пожалуй, не это, а попытаться понять, как в жестокие сталинские годы возник и состоялся вуз, давший России столько людей совершенно иного свойства, чем хотел бы «отец народов».

– Да, это загадка, на которую вряд ли дашь однозначный ответ...

– Начнем со столь нелюбимой марксистами роли личности в истории. Летом тридцать девятого мне, окончившему школу с отличием и имевшему право поступать без экзаменов, было отказано в приеме в этот Институт по банальной причине: нет мест в общежитии.

Такая же участь постигла киевлянина Толю Юдина, который был человеком решительным и уезжать несолоно хлебавши никак не желал. Мы догадывались, в чем дело – у нас обоих отцы были репрессированы.

Но мы уже слышали, что для ректора Анны Самойловны Карповой – это еще не основание отвергать абитуриентов. Член партии с девятьсот четвертого года, и (по слухам) сестра всемогущей тогда Землячки, она делала многое из того, что другие делать бы не смогли и не захотели. Например, отказывалась исключать детей «врагов народа» из института – из комсомола, дескать, пожалуйста, а право на образование дано сталинской конституцией...

Мы с Юдиным несколько дней наведывались в кабинет Карповой, благо нравы тогда были патриархальные и вход не охранялся. Наконец, Анна Самойловна вызывает секретаря приемной комиссии (и особиста) Якова Додзина и просит нас выйти. Потом зовет обратно и говорит, что мест нет, зато много заявок от университетов Поволжья. Предлагает даже деньги на проезд. Мы ни в какую. Тогда она бросает в сердцах: «Сдавайте-ка вы экзамены на общих основаниях, другой возможности не вижу».

Конкурс будь здоров – от шести до десяти человек на место. Но решили: рискнем! Просим единственной льготы – сдавать экзамены в удобные для нас дни. Карпова согласна, «особый отдел» не против. Сдали успешно.

– А как дальше сложилась судьба вашего ректора?

– Незадолго до войны ее из института убрали, отправили в Исторический музей. Слава Богу, в разряд тех, чьих детей она как могла защищала, Анна Самойловна не попала. Яков Додзин, конечно, тоже был нетипичным чекистом. Например, он по роду своей службы «пресекал враждебную деятельность», но при этом и предупреждал людей: будьте осторожны, на вас имеется компромат... Другой на его месте мог бы со всем злорадством топить жертву.

– Роль личности из истории не выкинешь. А эпоха была, пожалуй, самой неблагоприятной...

– Как сказать... Многие задумывались, почему на мрачном фоне тридцатых возникли такие очаги культуры, как наш институт и еще некоторые – например, журналы «Литературный критик», «Интернациональная литература». Последние, кстати, знамениты куда меньше, а ведь еще Фейхтвангер говорил, что все на свете случается дважды – как событие и как его описание.

У нас в те годы ходила поговорка: «Не миф ли МИФЛИ?» Имелся в виду большой конкурс, делавший поступление почти чудом, но сегодня и вправду он стал в чем-то мифом. Ядро мифа таково: это островок культуры, задетый общенародной трагедией, но не раздавленный. Реальность была сложнее, ибо в тридцатые, помимо сталинской мясорубки, происходил и другой важный процесс: возвращение к классической мысли. Как писал Наум Коржавин, единственной заслугой Сталина можно считать прекращение школьных экспериментов и восстановление нормальной учебы на манер гимназической – с домашними заданиями, ответами у доски, контрольными работами и тому прочее.

Вернули в школу и в вузы историю, которую заменяло обществоведение. Начало возрождаться гуманитарное образование университетского типа.

Но поворот к нормальной школе был только частью общего поворота от романтики мировой революции к патриотизму и державности. Я бы сказал так: Сталин понял, что Третьего Интернационала и нового мира не получится, и решил строить Третий Рим.

Курс на державность чутко уловили многие писатели – и старые, как Алексей Толстой, и совсем молодые, как Константин Симонов. Кстати, вполне можно представить, как сидят за одним столиком три советских классика – граф Толстой, сын княгини Оболенской Симонов и потомок романовских постельничих Сергей Михалков...

– Но «ифлийские» поэты – Самойлов, Наровчатов и другие – были отнюдь не дворянских кровей, и стихи у них были совсем иного рода...

– И до войны у них практически не было опубликовано ни строчки. Эти поэты продолжали отвергнутую в общем линию революционного романтизма, линию Светлова и Багрицкого. Хотя они тоже были патриотами, недаром Павел Коган писал: «Я б сдох как пес от ностальгии в любом кокосовом раю...»

На короткое время патриотов и романтиков объединила общая угроза – Гитлер. Мы все были убежденными антифашистами, это питалось и нашим пролетарским происхождением, и литературой, и испанской войной. И никто не верил, что пакт Молотова – Риббентропа заключен всерьез и надолго.

– Если ИФЛИ был символом возврата к классическому образованию, то это значит, что было к чему возвращаться...

– Конечно! На историческом факультете появился академик Готье, еще недавно осужденный вместе с Евгением Тарле и другими учеными как «контрреволюционер». Юрий Владимирович Готье, потомок франко-швейцарцев, вел у нас семинар по «Русской Правде» – обычно такие вещи поручали доцентам, значит, все-таки ему не вполне доверяли. У Тарле я учился позже, до войны он еще жил в Ленинграде.

Но Евгений Викторович в нашем институте тоже побывал, он оппонировал на защите докторской нашему преподавателю Борису Федоровичу Поршневу, впоследствии крупному социальному психологу.

Нельзя не вспомнить профессора античной истории Владимира Сергеевича Сергеева, на чьи лекции сбегались все. Всегда прекрасно одетый, он отличался необыкновенным артистизмом – говорили даже, что он незаконный сын Станиславского. У него самого, впрочем, в незаконных сыновьях числился наш сокурсник Юлиан Бромлей, ставший потом одним из крупнейших этнологов.

Сергеев говорил так: «Эту главу о Спартаке вы прочтете в моем учебнике под редакцией профессора Мишулина, а я вам расскажу о нравах римской аристократии». И начинался моноспектакль в лицах – например, о том, откуда взялось выражение «деньги не пахнут» или еще что-нибудь в этом роде...

– Профессор Мишулин – не родственник ли Спартака Мишулина?

– Это его родной дядя, в честь которого и дали имя будущему артисту.

Антагонистом Сергеева был знаменитый профессор Николай Кун, автор книги «Легенды и мифы Древней Греции». Он упрекал Сергеева в плохом знании греческого, но как лектор в подметки ему не годился. Зато семинары по тому же курсу вел Кун, ибо тут требовались иные качества. А экзамены принимали оба поочередно, и во многом это были две разные истории – по Сергееву и по Куну. Последний тоже рассказывал исторические анекдоты, в том числе и о том, как он ехал по Швейцарии в поезде и читал Софокла. Сосед по купе воскликнул по-немецки: «Какой вы счастливый человек – вы знаете древнегреческий!» И представьте мое удивление, добавлял профессор, когда через несколько лет я узнал своего попутчика во Владимире Ленине...

Нужно еще отметить, что я поступил в ИФЛИ «своевременно» в двух отношениях. Институт был основан в тридцать четвертом году, до начала большого террора. Но уже тогда многие старые профессора пребывали в ссылке, сидели в тюрьме или просто находились не у дел. Затем начинается «поворот к Третьему Риму», когда Сталину оказались нужны историки для обоснования державного курса.

Моя учеба пришлось на время, когда классовый идиотизм уже сошел на нет, а борьба с космополитами еще не началась. Я угодил в «мертвую зону», вне обстрела оказалось довольно большое пространство гуманитарной мысли. После войны этого уже не было.

– Но и в МГУ вы учились у выдающихся людей – у того же Тарле...

– Философию нам читал Валентин Асмус, друг Бориса Пастернака. Логику – Павел Попов, друг Михаила Булгакова. Много было ярких востоковедов: китаист Кара-Мурза – сейчас в науке и политике их целая династия, индолог Игорь Рейснер, брат Ларисы Рейснер, иранист Эренбург – кузен

писателя и так далее. Но сама атмосфера была уже иной, а уж после моего выпуска в сорок восьмом году стало и просто нечем дышать.

– Хорошо бы вспомнить и студентов. С кем из будущих знаменитостей вы общались наиболее близко?

– Строгого деления по факультетам не было, все приезжие жили в одном общежитии на Стромынке, где институту принадлежал один этаж. Было много совместных лекций – общую историю, общую литературу читали всему вузу. Потом, на историческом училось много ребят, не прошедших по конкурсу на философский факультет, и они тяготели к последнему. Мой друг Василий Росляков, начав как историк, стал потом известным писателем, он рассказал о том времени в повести «Один из нас».

Так что у нас сложилась разношерстная компания – филологи Юрий Левитанский, Семен Гудзенко и Давид Кауфман (будущий Самойлов), историки Толя Юдин, Росляков и я, философы Георгий Чеперенко и Феохарий Кессиди... Юдин и Чеперенко погибли на фронте, Кессиди стал профессором, автором ряда монографий об античных философах. Сейчас он живет в Греции, родом был с Черного моря.

Юра Левитанский, кроме того, был моим земляком и одноклассником – мы вместе кончали школу № 3 города Сталино. С нами же учился в школе будущий прозаик Леонид Лиходеев, чуть позже – Илья Зверев, рано умерший автор замечательных рассказов о школьниках...

– Правда, что вы близко знали Андрея Синявского?

– С ним я познакомился уже в университете, где он занимал довольно крупный комсомольский пост. Синявский был москвич, но нередко приходил к нам в общежитие. Как и зять Сталина, историк Григорий Мороз.

«ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ, В НИХ ЖИВУТ...»

– Вы и Светлану Аллилуеву знали?

– Тогда она была Сталина. В конце учебы я много времени проводил на кафедре истории СССР, где она выполняла научную работу.

Но самый знаменитый из моих сокурсников в университете – это, конечно, Юрий Кнорозов, расшифровавший письменность индейцев майя. А на историческом факультете в мои годы учились будущий член политбюро Шелепин и будущий помощник Горбачева Анатолий Черняев. Ифлиец моего поколения также Григорий Котовский, сын красного героя и професор-индолог. Из философов могу назвать Арсения Гулыгу, автора биографий Канта, Гегеля и Шеллинга. Про него кто-то сочинил четверостишие:

*Пришла в ИФЛИ бумага,
Бумага-процельга:
«Из лагерей ГУЛага
Сбежал подлец Гулыга».*

В более мягком варианте было – «мудрец». В то время слово ГУЛаг еще не было для нас именем нарицательным, символом Большого Террора, так что не ищите в этой частушке особых намеков.

– Кстати, автор «Архипелага» ведь тоже учился в ИФЛИ...

– Да, в романе «В круге первом» довольно много сказано про общежитие на Стромынке. Видимо, впечатления и самого Солженицына, и его первой жены. Александр Исаевич ведь был заочник, приезжал на сессии из Ростова, так что встречаться в коридорах я с ним вполне мог, но знаком не был.

Еще о философах-ифлийцах. В сорок первом поступил в институт Эвальд Ильенков, будущий «подрыватель основ марксизма под видом углубления диалектики»...

– *А разве в войну шла учеба?*

– Не все ведь достигли призывного возраста. Институт переехали в Ашхабад, потом в Свердловск. Но мы, студенты, окончив второй курс, не дожидаясь повесток, пошли в армию – в Третий полк московских рабочих Третьей коммунистической дивизии. Название полка связано с тем, что в нем вместе с ифлийцами были самолетостроители с нашего подшефного завода. В нашем батальоне служил и такой выдающийся мыслитель, как Григорий Померанц. До армии я его не знал – он был на несколько лет старше, а тут сошлись ифлийцы разных возрастов.

После войны многие из нас перешли в университет, но некоторые не стали продолжать учебу – возраст, семья... Всех разбросало по всему Союзу, только среди моих друзей были вузовские преподаватели из Перми, Красноярска, Иванова... Никто из них не жаловался, что попал в провинцию – наоборот, они старались донести до студентов хоть часть ифлийского духа.

Захар Ильич Файнбург, например, профессор социологии Пермского политехнического, увлекался фантастикой – писал предисловия к книгам Лема, потом даже ездил к нему в Польшу. Он организовал студенческий кружок, названный словечком из романа Стругацких – «Массаракш», то есть мир наизнанку. Кто-то наступал в органы, и кружок прикрыли...

– *А где можно наиболее подробно прочитать об ифлийцах?*

– Года три назад вышла замечательная книга – «В том далеком ИФЛИ» под редакцией Александра Когана и Геннадия Соловьева. Это сборник воспоминаний, документов, писем, стихов, фотографий, готовившийся многие годы и, наконец, опубликованный. Думаю, ее стоит переиздать, добавив тиража и дополнив материалами «нефилологического» характера – об историках и философах.

«ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ, В НИХ ЖИВУТ...»

– Два года в институте, четыре на войне, и еще три в университете – итого девять труднейших для страны лет... Ваши воспоминания об атмосфере на историческом факультете университета, где Вы, вернувшись с фронта, продолжили образование, наверное, не менее интересны.

– Итого десять, потому что демобилизовался в звании старшего сержанта в конце сорок пятого. Стал ходить на лекции той же зимой, что-то досдавал, но третий курс у меня начался уже в следующем году. Кончил я в сорок девятом, уже после смерти Жданова, после погрома в биологии и в начале борьбы с космополитами.

– Как же ваш «лицей в Сокольниках» вписался в главный вуз страны?

– Философы и филологи просто образовали соответствующие факультеты университета, потому что до войны их там не было. А вот исторический был. У нас весь институт насчитывал около тысячи студентов, а тут только на истфаке стало полторы.

Первый год был праздником возвращения. Большинство приходили сержантами, редко – лейтенантами. И только Яша Гельберг вернулся майором – в двадцать два года! Комбат с шестью орденами, среди которых выделялся редкий орден Александра Невского, полученный за одну успешную операцию.

– Многие ли из ваших товарищей по институту перешли в университет?

– Потери были большими. Сужу только по своей доверенной комнате: погибли мой лучший друг Толя Юдин и земляк из Донбасса Жора Чеперенко, погибли Семен Слуцкий и Юра Зелкинд, двоюродный брат писателя Григория Бакланова... Еще не вернулся с войны первокурсник открытого в

сорок первом экономического отделения Арий Коган. Всего пятеро погибших – из девяти обитателей комнаты.

Мы с Володей Ерохиным пришли живыми, со множеством ранений и контузий и несколькими медалями. Коля Непомнящий – отличный спортсмен, парашютист, участник еще финской войны, попал на фронт уже в первый день войны. А через месяц – плен, из которого вернулся инвалидом. Не был на войне лишь Феохарий Кессиди, и не по своей воле. Как этнического грека, его в армию брать отказывались, и он к нашему возвращению был уже аспирантом.

И наша комната еще пострадала не слишком сильно – ведь из воевавших ифлийцев (почти все ребята и многие девушки) на одного выжившего приходится двое убитых. С годами особенно осознаешь тяжесть потерь... Вместе с жертвами ГУЛага, голодомора и раскулачивания эти миллионы образовали огромную демографическую яму. И то, что сегодня наши люди проявляют, прямо скажем, не самые лучшие человеческие качества – это следствие того, что лучшая часть нации погибла. А кто выжил, оказались битыми, но отнюдь не такими, за которых дают по два небитых...

– И вот вы пришли на Моховую... Атмосфера сильно отличалась от ифлийской?

– Даже внешне все было другим. Институт находился почти что в лесу, а тут – рядом Кремль, театры, консерватория, американское посольство... И состав студентов, точнее, студенток: сыновья вождей шли все больше в авиационные училища, а дочери – на философский факультет. Одно время с нами учились целых три Светланы – Сталина, Молотова и Гурвич-Бухарина. Были еще и сын Шкирятова, и дочери Первухина, маршала Чуйкова... И сын Григория Котовского, тоже Гриша, окончивший в один год со мной.

Учились на историческом факультете и дети крупных западных коммунистов. Тим О'Райен – это сын вождя американской компартии Юджина Денниса. Потом он стал Тиму-

ром Тимофеевым и руководил Институтом международного рабочего движения, под крышей которого пригелось много диссидентов от науки. Кстати, про его папу мы ничего не знали, пока не увидели фото в одном английском журнале. Текст нам, тогда все больше «немецко-язычным», перевел Тибор Самуэли, это племянник видного революционера – «венгерского Дзержинского», погибшего в девятнадцатом году.

Еще одна группа из элиты – дети ученых. Я уже говорил об Юлиане Бромлее. Фамилия у него от матери, которая имела в предках Шервудов – и знаменитого архитектора, и того, кто предал декабристов. Александр Кан – сын видного историка, главного специалиста по утопическим учениям. Ныне он профессор в Упсале, в Швеции.

И вместе со всеми ними учились мы, самый настоящий плебс – из Тамбова, Донбасса, Казахстана, с Дальнего Востока... Молодость и послевоенная атмосфера нивелировали социальные различия, зато скоро обозначились различия совсем иного рода...

– Вы имеете в виду начавшуюся идейную борьбу?

– Да, как сказал тогда мой товарищ Семен Гудзенко, послевоенный период кончился и начался период предвоенный. После Фултонской речи Черчилля мы стали жить в ожидании Третьей мировой, и как водится, до столкновения с внешним врагом взялись за врагов внутренних.

Тогда на гуманитарных факультетах, а на историческом особенно, фигурой номер один был не декан, а секретарь партбюро, обычно кто-нибудь из особенно волевых и беспощадных аспирантов. Вроде «железного малыша Шарипова» из повести Трифонова, только во много раз крупнее.

Но – вот тоже особенность времени – секретарь не был единоличным властителем в самом бюро. Там различались две конкурирующие группы – условно говоря, радикалы и либералы. Во главе первых стоял Алексей Кара-Мурза. Он держал рядовых коммунистов и беспартийных в «ежовых»

рукавицах, от него зависело, кого возносить, а кого снимать и выгонять.

У него был зловещий помощник – Миша Найденов, герой войны, с орденом Ленина на пиджаке. Он очень скоро стал профессором.

Еще один крупный деятель этого крыла – аспирант Толя Сахаров.

Вот эта тройка и проводила генеральную линию, в ходе чего были вычищены профессора с неподходящими анкетами и просто независимые люди.

Либералов возглавлял Миша Белявский, тоже будущий профессор. Он окончил войну майором и тоже носил ордена. И хотя его группа была численно меньше, на курсовых и факультетских собраниях основная масса партийцев, в особенности фронтовиков, поддерживала именно Белявского.

При этом обе группы самым жестоким образом копали друг под друга – и прямо разоблачали «вражеских» профессоров, и через них – студентов. Белявского пробовали ушутить тем, что он сын священника, но не получилось. Такая вот двухпартийность или, точнее, двухфракционность внутри одной ВКП(б)...

– Да, в более поздние времена мы знали только всеобщее одобрение.

– У нас тогда ничего подобного не было. Может быть, еще играло роль и то, что прием в партию надолго закрыли. За все годы на факультете был принят один человек – Светлана Сталина, и коммунисты почуяли себя неким орденом избранных.

– А знаменитая сессия ВАСХНИЛ по борьбе с морганистами вас коснулась?

– Еще бы! После нее у нас два дня продолжалось общевуниверситетское партсобрание. Поскольку наш ректор, хи-

мик Несмеянов, защищал травимого лысенковцами Ивана Шмальгаузена и его товарищей, ему тоже крепко досталось. Биологический факультет вывели из ведения ректора, напрямую подчинив министерству, и комиссаром на биологический факультет прислали печально знаменитого Исаея Презента.

Этот ряженный под колхозника инквизитор тыкал пальцем в портреты великих ученых прошлого, а потом в живого Несмеянова, крича: «Вы опозорили эти стены, дав приют Шмальгаузенам, Юдинцевым, Алиханьянам!»

Пинали Несмеянова и за его ученика Юрия Жданова, заведующего отделом науки ЦК. За месяц до того умер его всемогущий отец Андрей Жданов, и сыну пришлось написать покаянное письмо Сталину, ибо он имел несчастье выступить с критикой Лысенко...

И тем не менее сдаваться просто так ученые не хотели! Лишь некоторые философы встали на сторону лысенковцев, многие выступали против, и в итоге на третье утро была принята компромиссная резолюция. В тех условиях это был максимум возможного.

– *Пришла пора рассказать и о профессуре того времени...*

– Такого созвездия подлинных академиков и не уступавших им профессоров я не встречал больше нигде.

Скажу только о нашей кафедре отечественной истории. Лекции о старой Руси нам читали Борис Греков, Лев Черепнин, Михаил Тихомиров, ученик Ключевского Сергей Бахрушин. С историей западных земель знакомил Владимир Пичета, археологию преподавал Артемий Арциховский. Я уж не говорю о таких именах, как Евгений Тарле или Роберт Виппер. Честное слово, мне было до боли жалко сдавать зачетку в обмен на диплом – уже тогда я понимал, что отдаю бесценное собрание автографов...

А ведь я еще не назвал япониста Евгения Жукова – как и Тарле, и Рейснер, он был советником ООН, и медиевиста

Бориса Поршнева, и моего учителя Александра Неусыхина, и тюрколога Анатолия Миллера, и многих других...

До своего отъезда на родину преподавал у нас Зденек Неедлы, будущий президент Академии наук Чехословакии. Как стопушечный фрегат, проходил по узким коридорам отставной дипломат Иван Майский – некогда меньшевик и член самарского правительства Комуча, а потом сталинский полпред в Англии. Он читал нам спецкурс по гражданской войне в Испании.

О декабристах читала Милица Нечкина... Хорошо помню ее круглую фигуру и шедший за ней выводок студенток и аспиранток. А Владимир Хвостов, заведовавший архивом Министерства Иностранных дел? Идут занятия в истфаковском корпусе на улице Герцена, в открытое окно Хвостов машет кому-то: «Здравствуйте, Максим Максимыч!» И зовет нас посмотреть на живую историю: крепкий низкорослый старичок с пушком волос на огромной голове – это Литвинов.

Конечно, не всех я знал близко, но были профессора, относившиеся к студентам далеко не формально. Грекову мы сдавали экзамен у него дома, он подкармливал нас чаем с плюшками и долго извинялся, когда одному из группы нужен был поставить четверку.

Совсем другой тип являл собой хитрый и опасный человек, заведующий кафедрой истории СССР послеоктябрьского периода Исаак Минц. Я занимался у него в спецсеминаре по третьему походу Антанты. Личный друг Мехлиса и Кагановича, Минц в «незабываемом девятнадцатом» был комиссаром корпуса червонных казаков на Украине, а при Сталине отвечал за издание «Истории гражданской войны». И любил рассказывать нам, как вождь уличил его в неправильном написании лозунга: «Власть Советам» вместо: «Вся власть Советам!» Минц забормотал, что это просто ради стилистики, лозунг несколько раз повторяется на странице...

Сталин прервал его: «Товарищ Минц, хорошенько подумайте и больше таких вольностей не позволяйте!» И с вос-

«ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ, В НИХ ЖИВУТ...»

торгом истинного мазохиста академик завершал свой рассказ: «Я тогда чуть не умер!»

Что касается пресловутого похода Антанты – речь шла о войне с Польшей летом двадцатого года, то Минц все неудачи сваливал на Троцкого, Тухачевского и главкома Сергея Каменева. Хотя мы уже тогда знали, что это не так, ибо имели допуск к докладу Ленина, где он назвал итог этой кампании огромным поражением – сто тысяч в плену и двадцать тысяч интернировано в Германии.

Лично мне Минц симпатизировал из-за фамилии. Он спрашивал, не родственник ли я Виктору Адлеру – австрийскому социалисту, который поручился за Ленина, арестованного в августе четырнадцатого по подозрению в шпионаже в пользу России. И хотя мой отец тоже был подданным Австро-Венгрии – родом из Кракова, я отвечал: «Даже не однофамилец!»

Но и этот зубр погорел в сорок восьмом из-за «пятого пункта». Дипломную работу мне пришлось писать у Аркадия Сидорова. Относившийся к евреям плохо не только по долгу борьбы с космополитами, ко мне он благоволил как однополчанин – он служил у нас комиссаром. С моей фамилией и при красном дипломе нечего было надеяться в сорок девятом ни на аспирантуру, ни на работу в университетском городе, и Сидоров попытался меня обнадежить: «Езжай в эту Бугульму, глядишь, через несколько лет что-то изменится!»

– Вы упомянули о том, что к сталинской историографии относились без особого доверия. А разговоры на крамольные темы тогда студенты вели?

– Между собой мы говорили откровенно – слава Богу, стукачей среди нас не оказалось. Конечно, мы были твердыми марксистами и обвиняли Сталина в неправильном прочтении Маркса и Ленина. Мы определяли его как мародера и вора, укравшего у Троцкого заслуги в гражданской войне и план индустриализации, у Бухарина – идею построения социализ-

ма в одной стране, у Гитлера – метод провокации по типу поджога рейхстага (убийство Кирова).

От себя, считали мы, Сталин добавил только жестокость и иезуитскую хитрость. Ведь нам были знакомы и ранние издания его собственных трудов, и стенограммы съездов, и о ленинском «завещании» мы знали – текст был под запретом, а вот сталинская реакция на него публиковалась.

Значительно более свободным в высказываниях был упомянутый выше Тибор Самуэли. Его и арестовали через год после нашего выпуска, и чекисты в разных городах наводили справки о сокурсниках. Но Тибор никого не назвал, а вскоре, благодаря заступничеству лидера венгерской компартии Ракоши, его освободили.

После событий пятьдесят шестого года Тибор был проректором университета в Будапеште, а потом, будучи в командировке на Западе, не стал возвращаться.

– И все-таки, что лучше для образования – учиться в хорошее время у средних профессоров или у первокурсных в скверное время?

– Наверно, последнее... Нас хотя и перекармлили «Кратким курсом», но мы еще застали добротное классическое образование. В более поздние времена моих учителей на историческом факультете уже не было, были выкормыши тех самых сороковых годов.

Впрочем, уже в последний год моей учебы началась великая чистка «евреев по паспорту» и «евреев по убеждению». Вместо них пришли серенькие люди, под которых специально создали кафедру русской философии. Разумеется, изучали там не Бердяева с Булгаковым...

Учились мы, конечно, ревностно. И к нашим услугам были превосходные библиотеки – и университетская имени Горького, и Ленинка, и особенно Историческая.

Коротко об авторах

Ботева Валентина Юрьевна родилась и живет в Донецке (Украина).

Окончила химико-технологический институт.

Стихи пишет с юности, живописью занимается с самого детства.

Почти не имеет публикаций. Лишь несколько стихотворений напечатаны в журнале «Континент» по представлению поэта Инны Лиснянской.

В ГРАНЯХ были опубликованы поэтические циклы: «И снова за разлукой встреча» (№ 180), «Обочин горькую полынь...» (№ 191), «Ход времени – всего лишь дней уход» (№ 210), «...Были избы соломой крыты...» (№ 211), «Слепец и посох» (№ 217), «...В запредельности взгляда» (№ 229).

Васильев Глеб Казимирович родился в Коломне в 1923 году. Мать – Наталья Аркадьевна – урожденная Вяземская. Отец – поляк из древнего рода Арцышевских.

Слав экстерном выпускные экзамены, поступил в 1939 году на физический факультет Московского государственного университета, откуда, в связи с эвакуацией, перешел в 1942 году в Московский станкоинструментальный институт.

Осенью 1945 года на пятом курсе был осужден по статье 58 «за антисоветскую пропаганду» и отправлен по этапу в Северо-Печерский лагерь, на, так называемую, «стройку 503-ю». После пятилетнего отбытия срока, имел «поражение в правах» и в течение трех лет работал слесарем в Южном Казахстане, одновременно сотрудничая в вычислительном центре Алма-Атинской обсерватории.

В год смерти Сталина получил возможность вернуться в Москву. Автор публикаций в ГРАНЯХ №№ 181,182,184,189,191, 219, 224, 229: «Неужели все это было правдой?», «Встречи с Ю. А. Казарновским», «История Тифлисского альбома Николая Гумилева», «Проза, насыщенная электричеством памяти», «Земля обетованная», «Встречи с Анастасией Цветаевой», «Никки», «Подаренный нам Коктебель».

Г о р е н ш т е й н Фридрих Наумович, писатель, родился в 1932 году в Киеве.

В 1949 году был строительным рабочим, в 1950–1955 годах учился в Днепропетровском Горном институте, затем работая горным инженером.

После окончания Высших сценарных курсов при СП и Союзе кинематографистов в Москве, написал шестнадцать сценариев, по пяти из них были поставлены фильмы.

В 1979 году участвовал в составлении альманаха «Метрополь».

С 1980 года жил на Западе.

Первый рассказ «Дом с башенкой» (1964) опубликован в журнале «Юность». Самая большая повесть «Ступени» (1979) – в альманахе «Метрополь».

Основное произведение Ф.Г. – широкий по охвату событий роман «Место» (1969–1976), где речь идет о месте человека среди людей и в общественной жизни.

Печатался в журналах «Континент», «Время и мы», «Синтаксис», «Грани».

Один из авторов Второго выпуска литературно-художественного иллюстрированного сборника «Тарусские страницы» (2003).

Ж и р м у н с к а я Тамара Александровна – современная писательница, автор десяти книг, вышедших в Москве, среди которых сборники лирических стихов «Район моей любви», «Забота», «Нрав», «Праздник» и другие.

Ее избранные стихи, мемуарная проза и повесть «Вместе со светом» вошли в книгу «Короткая пробежка» (2001).

Недавняя работа Т. Ж. – беседы о Библии и русской поэзии за три века: «Ум ищет Божества» (2006).

Член Союза писателей Москвы и Русского ПЕН-центра.

Лауреат премии Союза писателей «Венец» в номинации поэзия. Живет в Мюнхене (Германия).

В ГРАНЯХ в № 215 опубликовано ее литературное эссе «Дальние и ближние голоса», в № 227 «Мы – счастливые люди» – воспоминания о писателе Юрии Казакове.

З о р и н Александр Иванович родился в Москве в 1941 году.

Автор семи поэтических книг, мемуарной книги «Ангел-чернорабочий» (1993, 2004) об отце Александре Мене и литературных эссе о русских поэтах в сборнике «Выход из лабиринта», которые печатались в «Дружбе народов», «Континенте» и других отечественных и зарубежных изданиях.

Живет в Москве.

В ГРАНЯХ в № 187 был опубликован поэтический цикл «...Мы с тобой заложники мира сего», в № 210 воспоминания о писателе Борисе Крячко «Нестандартная фигура», в № 217 литературное эссе «Портрет поэта под созвездием Большого Пса», в № 220 «Художник и модель. Владимир Набоков», в № 228 «Смута и ясность болдинской осени», «Не расставаясь с Есениным».

Кузнецов Виктор Владимирович родился в 1942 году в Узбекистане, жил и учился в Казани, работал в Якутии и на полуострове Мангышлак. Кандидат геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории физики нефтяного пласта ОАО «ВНИИнефть».

Член Союза писателей Москвы с 1997 года, автор четырех прозаических книг – «Сорок тысяч братьев» (1993), «Темное царство коммуналок» (1997), «Гишпократ и Аполлон» (2003, в соавторстве с Георгием Кузнецовым), «Все движется любовью» (2003) – и рассказов и очерков, публиковавшихся в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Кольцо А», «Крыша мира», «Литературный европеец», «Мосты», «Наша улица», «Новое время», «Новый Журнал»...

Живет в Москве.

В ГРАНЯХ (№ 219) опубликованы его материалы: «Французская карьера русского герцога»; в № 221 «На земле трудовых лагерей», в № 223 «Черный орел и земледельцы», в № 226 «Городу и миру», в № 230 «Кровь земли», в № 232 «Мой друг Еркин».

Менчинская Наталья Юльевна родилась в Москве в 1946 году в семье ученых. Мать, Менчинская Наталья Александровна, – видный психолог, отец, Бер Юлий Адольфович, – историк-исследователь.

После окончания Московского архитектурного института работала архитектором в Институте по проектированию высших учебных заведений «Гипровуз».

Работает в настоящее время в «Институте общественных зданий» руководителем проектной мастерской и главным архитектором проектов.

Н.Ю. с детства бывала в Коктебеле в доме М.Н.Изергиной, близкой подруги своей матери. Кончина Изергиной и последующая за этим ликвидация ее дома в 1998 году побудили заняться литературной деятельностью. Ей удалось сохранить память о замечательных людях ушедшего поколения, написав и опубликовав основанные на документальном материале книги «Крымские «аргонавты» XX века» (2003) и «Человек с солнечной стороны» (2005).

В декабре 2006 года опубликовала сборник рассказов «Крылья в кармане» Дмитрия Урина – забытого, но талантливого писателя, рано ушедшего из жизни, сопроводив его развернутым биографическим очерком, написанным ею по материалам семейного архива и РГАЛИ.

Имеет публикации в ряде журналов: «Наше наследие», «Лехайм», «Критическая масса», альманахе «Параллели».

Живет в Москве.

В ГРАНЯХ печатается впервые.

Мунтян Елена родилась в 1959 году в Москве. Окончила Московский полиграфический институт. Журналист, писатель. Сотрудничает с журналами «Караван историй», «Крестьянка», «Россия», «Вышгород» (Таллинн), где печатает эссе и рассказы.

В 2001 году в журнале «Вышгород» опубликован роман «Сон ветра, песня камня».

В 2003 году вышла книга «Рыцарь и ангел», куда вошли несколько повестей и эссе.

В ГРАНЯХ печатается впервые.

Никитина Галина Яковлевна родилась в городе Орле. Закончила Московский институт сельскохозяйственного производства.

Кандидат технических наук.

Г. Я. Никитина и Г. К. Васильев – составители и редакторы трехтомного сборника автографов Анастасии Цветаевой и сборников воспоминаний; участники конференций, посвященных творчеству сестер Цветаевых.

Живет в Москве.

О публикациях в ГРАНЯХ см. выше: В а с и л ь е в Г. К.

Н и к о л а е в Владимир Дмитриевич (1925–2008) родился в Москве.

В 1941–1946 годах служил в Военно-Морском Флоте.

Окончил факультет журналистики Московского университета.

Корреспондентом журнала «Огонек» объездил полмира, несколько раз путешествовал по Соединенным Штатам Америки.

Автор трех десятков публицистических книг, из них – двадцать две об американцах и их повседневной жизни.

Его книга «Американцы» дважды выходила в издательстве «Советский писатель», переведена на несколько языков, в том числе на английский.

В 2002 году вышла книга В. Н. «Сталин, Гитлер и мы». В ней говорится о некоем мистическом родстве между диктаторами. В 2005 году издательство «Терра» выпустило эту книгу со значительными дополнениями.

В 2007 году в издательстве ЭНАС вышла итоговая книга В. Н. «Красное самоубийство».

В ГРАНЯХ (№ 217) опубликована его рецензия «Любовь и память» на книгу А. М. Славуцкой «Всё, что было...». В №№ 225, 226 – документальная повесть «Сталинский лицей», в № 227 – «Война», в № 228 «Открытие Америки», в № 229, 230, 231 и 232 «Тайны придворной летописи». Уникальное издание «Огонек».

П а н ч е н к о Николай Васильевич (1924–2005) родился в Калуге.

Окончил в Москве Институт культуры и Высшие литературные курсы при Союзе писателей.

В 1985 году был издан первый сборник поэта «Теплынь».

Инициатор, издатель и соредaktor всемирно известного литературно-художественного альманаха «Тарусские страницы» (1961 год).

Был творчески и дружески связан с Виктором Шкловским, Булатом Окуджавой, Надеждой Мандельштам.

Выходом сборника «Обелиски в лесу» (1963) и публикацией «Баллады о расстрелянном сердце» было заявлено гражданское кредо поэта, отмеченное антивоенным пафосом и неприятием лжи о войне.

Автор поэтических сборников: «Уходит дерево», «Остылый уголь», «Белое диво», «Горячий след», «Избранное» и другие. Незадолго до ухода из жизни вышла книга поэзии и прозы «Слово о Великом Стоянии», наиболее полно представляющая его творчество.

Заслуги Н. П. в области русской литературы отмечены премией «За честь и достоинство в литературе» и Сахаровской премией «За мужество».

В ГРАНИХ в 1998 году (№ 186) напечатана подборка его стихотворений «Я верую Первому Слову», в №№ 203, 204, 209 и 210 проза «Частный опыт истории», в № 218 стихотворный цикл «Мгновенья озарений», в № 221 интервью с Н. П. «Во имя тех идеалов, которые исповедуешь...», в № 223 публицистика «Человек и его язык».

Э л ь я ш е в Эдгар Семенович (1932–2005) – журналист, литератор.

Родился в Ленинграде в 1932 году.

Рассказы печатал в «Московском комсомольце», «Литературной газете», «Литературной России».

Новые работы, начиная с 2003 года, публиковались в журналах «Наша улица», «День» (Антверпен, Бельгия), «Вестник» (Балтимор, США), «Планета людей», «Континент» и других.

В ГРАНИХ (№ 218) опубликованы два его рассказа: «Пти флер» и «Черное молоко».

*Читайте
в следующем номере:*

Александр ЗОРИН
Дар Валдая.
Хроника деревенской жизни

Петр КРАСНОПЁРОВ
«Твоё барокко голубое...»

Владимир НИКОЛАЕВ
Правдинский монастырь

Наталья МЕНЧИНСКАЯ
Сестры Изергины

Лидия ГОЛОВКОВА
Шпионаж на вершинах

От первого лица:
*история России в воспоминаниях,
дневниках, письмах*

и другие материалы

ОБРАЩЕНИЕ

Редколлегии журнала ГРАНИ к русской эмиграции,
литературной молодежи и студенчеству стран Европы,
Америки, Азии и Австралии

Нет сегодня в России еще журнала с такой удивительной, прекрасной и трагической судьбой, как ГРАНИ.

С момента основания, за свою более чем полувековую жизнь, журнал помог выжить литературе под коммунизмом и доводил до подсоветской части интеллигенции традиционные линии российской культуры, которые не только сохранялись, но и развивались в эмиграции.

Творцы журнала никогда не знали, какое количество экземпляров – порой с риском для жизни тех, кто это делал, – пересечет границу. Но они были твердо уверены в том, что каждая их строка обязательно будет прочитана ТАМ. И что от первого читателя журнал попадет ко второму, третьему, четвертому... и по цепочке окажется у человека, который перепечатаст его в нескольких копиях.

В том, что идеи свободного мира расходились за железным занавесом как круги по воде, есть бесспорно заслуга ГРАНЕЙ. Взрыв гэбистской бомбы у редакционного порога свидетельствовал об этом как нельзя более красноречиво.

Люди, подвижничеством которых живет журнал в России в наши дни, уверены в нужности своего дела так же твердо, как и их предшественники. Да, в стране нынче можно распространять любые идеи, печатать любую литературу, однако восприимчивость общества невероятно упала.

Если в гробовой атмосфере официального единомыслия тоталитарного мира эффект ГРАНЕЙ и ПОСЕВА был эффектом громкого шепота среди тишины, то сегодня, когда сотни независимых источников предлагают свои – увы! – часто совершенно безответственные версии, объяснения, программы и прогнозы на будущее, информационный шум стал ревом Ниагары.

Вот почему все больше сбитых с толку людей обращаются к привычным и проверенным журналам, радиостанциям и т. д.

Для тысяч и тысяч российских интеллигентов логотип ГРАНЕЙ – знак качества высшей пробы. Этим людям не стоит недооценивать. Их влияние непропорционально их количеству. Все мы помним, что куда меньшее число диссидентов совершило в нашей стране то, что когда-нибудь будет названо «чудом конца восьмидесятых».

В условиях, когда слишком многие российские СМИ, слышущие демократическими, открыто заигрывают с коммунистами, шовинистами, расистами, изоляционистами, ненавистниками Запада, врагами либеральных ценностей, особенно важно, чтобы журнал, который ощущается одним из необходимых российских институтов, продолжал выходить.

Сегодня ГРАНИ издаются в России в судьбоносное для страны и такое трудное для литературных изданий время исключительно на средства зарубежных подписчиков.

Учитывая ценность журнала для будущего России, а также для русской эмиграции, которая по-прежнему живет тревогами и болью своего Отечества, просим Вас помочь в распространении журнала в 2009 году от Р.Х.

За 2009 год вышли №№ 229, 230, 231 и 232, которых у Вас, возможно, нет.

**Адрес редакции журнала ГРАНИ
для оформления подписки, писем и сообщений:**

**GRANI
BP 24 CHENNEVIER-SUR-MARNE
CEDEX 94431
FRANCE**

О том, по какому адресу мы должны Вам послать журналы, а также об отправке Ваших денег убедительно просим известить по вышеуказанному адресу или по e-mail:

**grani.08@mail.ru
wickuz@orexovo.net**

Принимаем заявки на подписку 2010 и 2011 годов от Р.Х.

Учредитель:
Journal «Grani»

Ассоциация «ГРАНИ»
L'association «GRANI»
De l'association n°751170197
Paris

*Статьи, подписанные фамилией или инициалами автора,
не обязательно выражают мнение редакции.*

Не принятые к публикации рукописи не возвращаются.

Перепечатка без разрешения воспрещается.

Оригинал-макет – Елены Метченко
Корректор – Анна Сидорова

Подписано в печать 29.05.09. Формат 84 × 108 ¹/₃₂.
Печать офсет. Бумага офсет. № 1.
Усл. печ. л. 12,6. Усл. кр.-отт. 30. Уч.-изд. л. 10.
Тираж 750. Заказ № 43/1.

Отпечатано в ЗАО «Издательство ИКАР».
Москва, ул. Ак. Волгина, д. 6.
Тел.: 936-83-28.

Journal «Grani»

**Журнал ГРАНИ - 2010.
№233, №234, №235 и №236**

**Для оформления подписки,
писем и сообщений:**

**GRANI
BP 24 CHENNEVIER-SUR-MARNE
CEDEX 94431
FRANCE**

Представители:

РОССИЯ Т. Jilkina
17, Milashenkova str., app. 61
127322, Moscow
E-mail: grani.08@mail.ru

АМЕРИКА К. Troosh
600 Fiftn Ave
San Francisco CA 94118
E-mail: katia@katias.com

ФРАНЦИЯ N. Fedorovsky
16 square J.-B. Pigalle
77680 Roissy-en-Brie
Tel.: 01.60.28.36.57

**Спрашивайте журнал ГРАНИ
в библиотеках Москвы и Санкт-Петербурга**

*Легко и радостно жить тому,
кто ищет в других хорошее,
ищет и находит.*

*Исканием своим помогает он тем,
в ком ищет, раскрыть и проявить
светлые г р а н и души. Но для этого
он прежде всего в самом себе
должен раскрыть их, должен стремиться
к совершенствованию.*

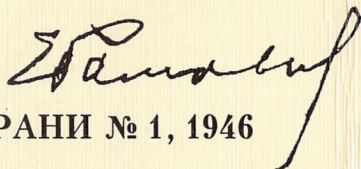
*Каждый человек —
часть органического целого, человечества.
Совершенствуется часть —
совершенствуется целое.*

*Тот, кто становится на путь Правды,
помогает всему человечеству
стать на тот же путь.*

*А необходимость этого, может быть,
никогда так не была велика, никогда так
не ощущалась всеми, как в наши дни.*

*В свете этого большая
и ответственная задача
стоит перед теми, кто служит Слову, —
Слову Правды.*

*Тогда подлинным гуманизмом будет
проникнуто творчество художника
и оправдано в служении Человеку,
Правде человеческой, Правде Божьей.*



ГРАНИ № 1, 1946